

## Музыкант (1854—1855)

Шевченко Тарас Григорович

28 ноября

Если вы, благосклонный читатель, любитель отечественной старины, то, проезжая город Прилуки П[олтавской] г[убернии], советую вам остановиться на сутки в этом городе, а если это случится не осенью и не зимою, то можно остаться и на двое суток. И, во-первых, познакомьтесь с отцом протоиереем Илиею Бодянским, а во-вторых, посетите с ним же, отцом Илиею, полуразрушенный монастырь Густыню, по ту сторону реки Удая, верстах в трех от г. Прилуки. Могу вас уверить, что раскаиваться не будете. Это настоящее Сенклерское аббатство. Тут все есть. И канал, глубокий и широкий, когда-то наполнявшийся водою из тихого Удая. И вал, и на валу высокая каменная зубчатая стена со внутренними ходами и бойницами. И бесконечные склепы, или подземелья, и надгробные плиты, вросшие в землю, между огромными суховерхими дубами, быть может, самым ктитором насажденными. Словом, все есть, что нужно для самой полной романической картины, разумеется, под пером какого-нибудь Скотта Вальтера или ему подобного писателя природы. А я... по причине нищеты моего воображения (откровенно говоря) не беруся за такое дело, да у меня, признаться, и речь не к [то]му идет. А то я только так, для полноты рассказа, заговорил о развалинах Самойловичевого памятника.

Я, изволите видеть, по поручению К[иевской] а[рхеологической] комиссии посетил эти полуразвалины и, разумеется, с помощью почтеннейшего отца Илии, узнал, что монастырь воздвигнут коштом и працею несчастного гетмана Самойловича в 1664 году, о чем свидетельствует портрет его яко ктитора, написанный на стене внутри главной церкви.

Узнавши все это и нарисовавши, как умел, главные, или святые, ворота, да церковь о пяти главах Петра и Павла, да еще трапезу и церковь, где погребен вечная памяти достойный князь Николай Григорьевич Репнин, да еще уцелевший циклопический братский очаг, — сделавши, говорю, все это, как умел, я на другой день хотел было оставить Прилуки и отправиться в Лубны осмотреть и посмотреть на монастырь, воздвигнутый набожною дочерью Еремии Вишневецкого-Корибута. Сложил было уже всю свою мизерию в чемодан и хотел фактора Лейбу послать за лошадьми на почтовую станцию. Только входит мой хозяин в комнату и говорит: «И не думайте, и не гадайте. Вы только посмотрите, что на улице творится». Я посмотрел в окно — и действительно, вдоль грязной улицы тянулося две четырехместные кареты, несколько колясок, бричек, вагонов разной величины и, наконец, простые телеги.

— Что все это значит? — спросил я своего хозяина.

— А это значит то, что один из потомков славного прилуцкого полковника, современника Мазепы, завтра именинник.

Хозяин мой, нужно заметить, был уездный преподаватель русской истории и любил щегольнуть своими познаниями, особенно перед нашим братом, ученым.

— Так неужели весь этот транспорт тянется к имениннику?

- Э! Это только начало. А посмотрите, что будет к вечеру: в городе тесно будет.
- Прекрасно. Да какое же мне дело до вашего именинника?
- А такое дело, что мы с вами возьмем добрых тройку коней да и покатаем чуть свет у Дигтяри.
- У какие Дигтяри?
- Да просто к имениннику.
- Я ведь с ним не знаком!
- Так познакомитесь.

Я призадумался. А что в самом деле, не махнуть ли по праву разыскателя древностей полюбоваться на сельские импровизированные забавы? Это будет что-то новое. Решено. И мы на другой день поехали в гости.

Начать с того, что мы сбились с дороги. Не потому, что было еще темно, когда мы выехали из города, а потому, что возница (настоящий мой земляк!), переехавши через удайскую греблю, опустил вожжи, а сам призадумался о чем-то, а кони, не будучи глупы, и пошли Роменскою транспортной дорогой, разумеется, по привычке. Вот мы и приехали в село Иваныцю. Спрашиваем у первого встретившегося мужика, как нам проехать в Дигтяри?

- В Дигтяри? — говорит мужик. — А просто берить на Прилуку.
- Как на Прилуки? Ведь мы едем с Прилук.
- Так не треба було вам и издыть з Прилуки, — отвечал мужик совершенно равнодушно.
- Ну, как же нам теперь проехать в Дигтяри, чтобы не возвращаться в Прилуки? а? — спросил я.
- Позвольте, тут где-то недалеко есть село Сокирынци, тоже потомка славного полковника. Не знает ли он этого села?
- А Сокирынци, земляче, знаеш? — спросил я у мужика.
- Знаю! — отвечал он.
- А Дигтяри от Сокирынець далеко?
- Ба ни.
- Так ты покажи нам дорогу на Сокирынци, а т[ам] уж мы найдем как-нибудь Дигтяри.
- Ходим за мною, — проговорил мужик и пошел по улице впереди нашей удалой тройки. Он повел нас мимо старой деревянной одноглавой церкви и четырехугольной бревенчатой колокольни, глядя на которую я вспомнил картину незабвенного моего Штернберга «*Освящение пасок*». И мне грустно стало. При имени Штернберга я многое и многое вспоминаю.
- Оце вам буде шлях просто на Сокирынци! — говорил мужик, показывая рукою на едва заметную дорожку, блестящую между густой зеленой пшеницей.

Замечательно, что возница наш в продолжение всей дороги от Прилуки до Иваныци и во время разговора моего с мужиком все молчал и проговорил только, когда увидел из-за темной полосы леса крытый белым железом купол:

— Вот вам и Сокирынци! — и опять онемел. Это общая черта характера моих земляков. Земляк мой, если что и впопад сделает, так не разговорится о своей удали, а если, Боже сохрани, опростофилится, тогда он делается совершенной рыбой.

В Сокирынцах мы узнали дорогу в Дигтяри и поехали себе с Богом между зеленою пшеницею и житом.

Товарищу моему, кажется, не совсем нравилось такое путешествие, тем более, что он имел претензию на щеголя. (А надо вам заметить, мы были одеты совершенно по-бальному.) Он, как и возница наш, тоже молчал и не проговорил даже: «А вот и Сокирынци!» — так был озлоблен пылью и прочими дорожными неудачами. Я же, несмотря на фрак и прочие принадлежности, был совершенно спокоен и даже счастлив, глядя на необозримые пространства, засеянные житом и пшеницею. Правда, и в мое сердце прокрадывалась грусть. Но грусть иного рода. Я думал и у Бога спрашивал: «Господи, для кого это поле засеяно и зеленеет?» Хотел было сообщить мой грустный вопрос товарищу — но, подумавши, не сообщил. Когда бы не этот проклятый вопрос, так некстати родившийся в моей душе, я был бы совершенно счастлив, купаясь, так сказать, в тихо зыблемом море свежей зелени. Чем ближе подвигались мы к балу, тем грустнее и грустнее мне делалось, так что я готов был поворотить, как говорится, оглобли назад. Глядя на оборванных крестьян, попадавшихся нам навстречу, мне представлялся этот бал каким-то нечеловеческим весельем.

Так ли, сяк ли, мы, наконец, добрались до нашей цели уже перед закатом солнца. Не описываю вам ни великолепных дубов, насажденных прадедами, составляющих лес, освещенный заходящим солнцем, среди которого высится бельведер с куполом огромного барского дома; ни той широкой и величественной просеки или аллеи, ведущей к дому; ни огромного села, загроможденного экипажами, лошадьми, лакеями и кучерами, — не описываю потому, что нас встретила, перед самым въездом в аллею, бесконечная кавалькада амазонок и амазонов и совершенно сбила меня с толку. Но товарищ мой не оробел; он ловко выскочил с телеги и хватски раскланивался со всею кавалькадою, из чего я заключил, что он порядочный шутник. По миновании амазонок, амазонов и, наконец, грумов или жокеев, я тоже вылез из телеги, расплатился с нашим возницею, сказавши ему на вопрос: «Де ж я буду ночувать?» — «В зеленый диброви, земляче!» После чего он посвистал и поехал в село. А мы скромно пошли вдоль великолепной аллеи к барскому дому. Но чтоб придать себе физиономию хоть о сколько-нибудь похожую на джентельменов, зашли мы в так называемый холостой флигель, отстоящий недалеко от главного здания, где встретили нас джентельмены самого неблагопристойного содержания.

Обыкновенно бывает, что люди после немалосложного обеда и нешуточной выпивки предаются сновидениям, а у них как-то вышло это напротив. Они скакали, кричали и черт знает что выделывали, и все, разумеется, в шотландских костюмах.

Цынизм, чтобы не сказать мерзость, и больше ничего.

Виргилий мой добился кое-как умывальника с водой и лоханки, и мы, в коридоре умывши свои лики и согнавши пыль с фраков посредством встряхиванья, отправились в сад в надежде встретиться с хозяевами. Надежда нас не обманула. Мы вошли сначала в дом и, пройдя две залы, очутились на террасе, уставленной роскошнейшими цветами; спустившись с террасы и пройдя дорожкой, тщательно песком усыпанной, через зеленую площадь (из патриотизма

называемую *левадою*), вошли мы в сад, к немалому моему удивлению, не в английский и не в французский сад, а в простой, естественный дубовый лес, или в дубову. И если б не желтые дорожки блестели между старыми темными дубами, то я совершенно забыл бы, что нахожусь в барском саду, а не в какой-нибудь заповедной дубове. Виргилий мой подвел меня к высокому раскидистому огромному дубу и показал мне на стволе его небольшое отверстие вроде маленького окошечка, сказавши: «Посмотрите-ка в это оконце». Я посмотрел и, разумеется, ничего не увидел. «Посмотрите пристальнее». — Я посмотрел пристальнее и увидел что-то вроде иконы Божией Матери. И действительно, это была икона *Иржавецкой* Божией Матери, как мне пояснил мой Виргилий, врезанная в этот дуб знаменитым прилуцким полковником год спустя после Полтавской битвы.

Слушая пояснения сего исторического факта, я и не заметил, как мы вышли опять на *леваду*, где и встретили хозяина и хозяйку, окружаемых толпою улыбающихся гостей своих.

Виргилий мой, довольно ловко для уездного преподавателя, расшаркнулся перед хозяином и хозяйкой, причем хозяин протянул ему покровительственно указательный палец левой руки, украшенный дорогим перстнем. Виргилий мой с подобострастием схватил его палец обеими руками и рекомендовал меня как своего друга и ученого собрата. Я в свою очередь тоже расшаркнулся, надо сказать правду, довольно по-ученому, то есть по-медвежьи, после чего толпа гостей увеличилась двумя членами.

Не описываю вам ни хозяйки, ни хозяина, потому что во время нашей аудиенции на дворе было почти темно, следовательно, подробностей рассмотреть было невозможно. А как ни будь хороша картина в целом, но если художник пренебрег подробностями, то картина его останется только эскизом, на который истинный знаток и любитель посмотрит и только головой покачает. И отойдет со вздохом к портретам Зарянка восхищаться гербами, с убийственной подробностью изображенными на пуговицах какого-нибудь вицмундира.

Во избежание помавания главы знатока и любителя оконченных картин, я ограничусь только первым впечатлением, что, по мнению психологов, самая важная черта при изображении характеров.

Первое впечатление, произведенное на меня хозяйкою, было самое приятное впечатление, а хозяином — напротив. Но это, быть может, указательный палец левой руки, так благосклонно протянутый моему приятелю, был причиною такого неприятного впечатления.

Веселая толпа гостей тихонько двигалась к дому, уже освещенному ярко внутри. А на террасе, между роскошными цветами и лимонными деревьями, только еще разноцветные фонари развешивали.

Лишь только хозяин с хозяйкой вступили на террасу, как крепостной оркестр грянул знаменитый марш из «Вильгельма Телля», после марша сейчас же, не переводя духу, полонез, и бал начался во всем своем величии.

Некий ученый муж, кажется, барон Боде, поехал из Тагерана к развалинам Персеполиса и описал довольно тщательно свое путешествие до самой долины Мардашт. Увидевши же величественные руины Персеполиса, сказал: «Так как многие путешественники описывали сии знаменитые развалины, то мне здесь совершенно нечего делать».

Я то же могу сказать, глядя на провинциальный бал, хотя мое путешествие не имело цели описания провинциального бала и не было сопряжено с такими трудностями, как путешествие из Тагерана к развалинам Персеполиса, да и сравнение, надо правду сказать, я делаю самое

неестественное; да что делать, — что под руку попало, то и валяй.

Любую повесть прочитайте современной нашей изящной словесности, везде вы встретите описание если не столичного, то уж непременно провинциального бала, и, разумеется, с разными прибавлениями насчет нарядов, ухваток или манеров и даже самых физиономий, как будто природа для провинциальных львиц и львов особенные формы делала. Вздор! Формы одни и те же, и львицы и львы одни и те же, и ежели есть между ними разница, так это только та, что провинциальные львы и львицы немножко ручнее столичных, чего (сколько мне известно) писатели провинциальных балов не заметили.

Следовательно, все балы описаны, начиная от бала на *фрегате «Надежда»* до русской пирушки на немецкой лад, где устьсыольские ребята немножко пошалили.

И в отношении провинциального бала я могу сказать смело, что мне совершенно нечего делать, как только любоваться свежими, здоровыми лицами провинциальных красавиц.

Одно меня немного озадачило на этом бале, именно то, что не видно было ни одного мундира, несмотря на то, что в Прилуцком уезде квартировал стрелковый батальон. Не постигая сей причины, я обратился к моему *Виргилию*.

А *Виргилий* мой в эту самую секунду выделявал в кадрили па самым классическим образом.

Я терпеливо ожидал конца последней фигуры кадрили, а между тем разгадывал вопрос предположениями.

«Может быть, — думал я, — они тово? Но нет, эта профессия принадлежит более гусарам и вообще кавалерии, а ведь они пехотинцы, да еще с ученым кантом. Нет, тут что-нио будь да не так». — В эту минуту кадрили кончилась, и вспотевший мой *Виргилий* подошел ко мне.

— А! какво пляшем! — проговорил он, утираясь.

— Ничего, изрядно, — отвечал я рассеянно. — А вот что, — сказал я ему почти шепотом, — отчего это военных нет на бале?

— Их почти нигде не принимают, тем более в таком доме, как дом нашего амфитриона.

«Странно!» — подумал я. И, подумавши, спросил:

— А барышни ничего?

— Ничего.

— Таки совершенно ничего?

— Совершенно ничего!

В это время заиграли вальс, и ментор мой завертелся с какой-то аппетитною брюнеткой.

А я, протолкавшись кое-как между зрителей и зрительниц, т. е. между горничных и лакеев, столпившихся у растворенных дверей, вышел на террасу и думал о том, [что]

Мы подвигаемся заметно.

Бал был увенчан самым роскошным ужином и не спрыснут, не запит, а буквально был залит

шампанским всех наименований. Меня просто ужаснула такая роскошь.

После ужина амфитрион предложил grosфатер, что и было принято с восторгом счастливыми гостями.

Gросфатер начался и продолжался со всей деревенской простотою до самого восхода солнца.

Красавицы! особенно красавицы вроде героинь покойного Бальзака, т. е. красавицы не первой свежести, не советую вам танцевать до восхода солнечного. Власть, утвержденная при свете свечей над нашим бедным сердцем, распадается при свете солнца, и обаяние, навеянное вами в продолжение ночи, сменяется каким-то горько-неприятным чувством, похожим на пресыщение. Но вы, алчные пожирательницы бедных сердец наших, в торжестве своем и не замечаете, как близится день и могущество ваше исчезает, как тот прозрачный туман, разостлавшийся над болотом.

Так думал я, оставляя веселый, непринужденный grosфатер и пробираясь между дубами к нашему лагерю (гости не помещались в зданиях; разбивалось несколько палаток в конце сада, что и означало лагерь, или, ближе, цыганский табор). Приближаясь к палаткам, блестящим на темной зелени, я, к немалому моему удивлению, услышал песни и хохот в одной палатке. То были друзья-собутельники, предпочитавшие мирскую суету уединению, нельзя сказать совершенному. Я кое-как прокрался в свою палатку, наскоро переменял фрак на блузу и скрылся в кустах орешника.

Я не знал, что к саду примыкает пруд, и мне показалось странным, когда густые, темные ветви орешника стали рисоваться на белом фоне. Я вышел на полянку, и мне во всей красе своей представило озеро, осененное старыми берестами, или вязами, и живописнейшими вербами. Чудная картина! Вода не шелохнется — совершенное зеркало, и вербы-красавицы как бы подошли к нему группами полюбоваться своими роскошными широкими ветвями. Долго я стоял на одном месте, очарованный этой дивною картиною. Мне казалось святотатством нарушить малейшим движением эту торжественную тишину святой красавицы природы.

Подумавши, я решился, однако ж, на такое святотатство. Мне пришло в голову, что недурно было бы окунуться раза два-три в этом волшебном озере. Что я тотчас же и исполнил. После купанья мне так стало легко и отрадно, что я вдвойне почувствовал прелесть пейзажа и решился им вполне насладиться. Для этого я уселся под развесистым вязом и предался сладкому созерцанию очаровательной природы.

Созерцание, однако ж, не долго длилось; я прислонился к бересту и безмятежно уснул. Во сне повторилась та же самая отрадная картина, с прибавлением бала, и только странно — вместо обыкновенного вальса я видел во сне известную картину Гольбейна *«Танец смерти»*.

Видения мои были прерваны пронзительным женским хохотом. Раскрывши глаза, я увидел резвую стаю нимф, плескавшихся и визжавших в воде, и мне волею-неволею пришлось разыграть роль нескромного Актеона-пастуха. Я, однако же, о вскоре овладел собою и ползком скрылся в кустарниках орешника.

В одиннадцать часов утра посредством колокола сказано было холостым гостям, что чай готов (женатые гости наслаждались им в своих номерах). На сей отрадный благовест гости потянулись с своих уединенных приютов к великолепной террасе, украшенной столами с чайными приборами и несколькими пузатыми самоварами и кофейниками.

Не успел я кончить вторую чашку светло-коричневого суропа со сливками, как грянул вальс, и в открытые двери в зале я увидел вертящихся несколько пар. «Когда ж они навертятся?» —

подумал я. И, сходя с террасы, встретил своего Просперо, который сообщил мне по секрету, что сегодняшней вечер начнется концертом, чему я немало обрадовался, о хоть, правду сказать, многого и не ожидал. Я, однако же, ошибся.

Вскоре после вечерней прогулки гости собрались кто в чем попало, т. е. кто в сертуке, кто в пальто, а кто держался хорошего тона или корчил из себя англomана, такие пришли во фраках. А о костюмах нежного пола и говорить нечего. Это уже всему миру известно, что ни одна, в какой бы степени ни была она красавица, не задумается раз двадцать в сутки переменить свой костюм, если имеет в виду встретить толпу хотя бы даже уродов, только не своей породы. Прошу не погневаться, мои милые читательницы, это не сочинение, а неопровержимый факт.

Гости собрались и заняли свои места, разумеется, с некоторою сортировкой: что покрупнее, выдвинулось вперед, а мелочь (в том числе и нас, Господи, устрой) поместилась кое-как впотьмах, между колоннами. Когда все пришло в порядок, явился на подмостках вроде сцены вольноотпущенный капельмейстер, довольно объемистой стати и самой лакейской физиономии. «Ученик знаменитого Шпора!» — кто-то шепнул возле меня. Еще миг, и грянула «Буря» Мендельсона. И, правду сказать, грянула и продолжала греметь удачно. Меня задел не на шутку виолончель. Виолончелист сидел ближе других музыкантов к авансцене, как бы напоказ (что, действительно, и было так).

Это был молодой человек, бледный и худощавый, — все, что я мог заметить из-за виолончеля. Соло свои он исполнял с таким чувством и мастерством, что хоть бы самому Серве так впору. Меня удивляло одно: отчего ему не аплодируют. Самому же мне начинать было неприлично. Что я за судья, да и что я за гость такой? Бог знает что и бог знает откуда. Что скажут гости первого разбора!

Между тем «Буря» кончилась, и я услышал произносимые вполголоса похвалы артисту такого рода:

— Ай да Тарас! Ай да молодец! Недаром побывал в Италии!

Пока оркестр строился, я успел узнать от соседа кое-что о заинтересовавшем меня артисте. Началась увертюра из «Прециозы» Вебера. И я, к удивлению моему, увидел виолончелиста со скрипкою в руках почти рядом с капельмейстером. И теперь я его мог лучше рассмотреть.

Это был молодой человек лет двадцати с небольшим, стройный и грациозный, с черными оживленными глазами, с тонкими едва улыбающимися губами, высоким бледным лбом. Словом, это был джентельмен первой породы. И вдобавок самой симпатической породы.

Когда он исполнил арию Прециозы, я не утерпел, закричал «браво!» и изо всей мочи стал аплодировать. Все посмотрели на меня, разумеется, как на сумасшедшего. Я, однако ж, не струсил и продолжал хлопать и кричать «браво!», пока, наконец, воловьи глаза самого хозяина не заставили меня опомниться.

Оркестр снова строился, но я, не ожидая услышать что-нибудь лучше лучшего, вышел из залы в сад. Ночь была лунная, теплая и спокойная. Я бродил около дому недалеко, и до меня долетали из хаоса звуков чудные звуки виолончеля или скрипки. И образ грустного артиста с своею меланхолическою улыбкою носился как бы живой передо мною.

Где я его видел? Где я с ним встречался? — спрашивал я сам себя. И после долгого напряжения памяти я вспомнил, что я видел его во время обеда, с рукой, обернутой салфеткой, за стулом самого хозяина.

Мне сделалось почти дурно после такого открытия.

Музыка затихла, и я пошел через леваду по дорожке [к] старосветским таинственным дубам. Пройдя немного, я услышал тихий шорох шагов за собою, оглянулся и узнал преследующего меня виолончелиста. Я обратился было к нему с вопросом, но он предупредил меня, схватил мои руки и со слезами прижал их к губам своим.

— Что вы? Что вы? Что с вами сделалось? — спрашивал я его, стараясь освободить руки.

— Благодарю вас! благодарю! — говорил он шепотом. — Вы! вы один-единственный человек, который слушал меня и понял меня! — Он не мог продолжать за слезами. Я молча взял его под руку и привел к деревянной скамейке, устроенной вокруг столетнего развесистого дуба.

Долго мы сидели молча, наконец он заговорил:

— Вы со мной очень милостивы. — В это время раздался голос, называвший его по имени.

— Идите в виноградную беседку, — сказал он, вставая. — Я сию минуту приду к вам.

И он поспешно удалился. Глядя вслед ему, я думал: вот вдохновенный миннезингер XII века. Как мы недалеко, однако ж, ушли от благородных рыцарей-разбойников того плачевного века. А просвещение идет себе вперед крупными шагами.

Я встал со скамьи и пошел по дорожке, ведущей к виноградной беседке. Не знаю почему, а я не надеялся услышать от него его безотрадную повесть, как это обыкновенно бывает, и я, слава Богу, не совсем ошибся. Правда, он передо мной высказался даже, может быть, больше, нежели сам хотел, но то не простой наш бедный язык, которым он заговорил со мною, — то были чудные, божественные звуки, в которых отразились стоны рыдающего непорочного сердца.

Пришел он ко мне в беседку с виолончелью и, не сказав ни слова, начал настраивать инструмент. И вроде пробы, как бы шутя, проиграл знаменитую каватину из «Нормы». У меня дух захватило при этих звуках.

Не отнимая смычка от струн, он заиграл одну из задушевных мазурок вдохновенного *Шопена*. Кончивши мазурку, он едва внятно проговорил: «Вот у нас свой бал». Проиграл он еще несколько мазурок Шопена, одну другой лучше, одну другой задушевнее.

К концу последней мазурки я заметил сквозь виноградные листья безмолвные лица многочисленных слушателей. То были горничные, лакеи и фореиторы приезжих господ. Они оставили окна, в которые глазели на немецкие танцы вымуштрованных господ и госпож своих, и пришли послушать, как Тарас играет.

Орфей мой, отдохнув немного и настроив свою лиру, повел медленно смычком по струнам, и полилася полная сердечной сладкой грусти моя родная мелодия (на слова):

Котылыся возы з горы,  
А в долины стали.

Проигравши тему, он вариировал ее на тысячу ладов, и так вариировал, что я ничего подобного в жизнь мою не слышал, да, кажется, и не услышу никогда. Слушатели вокруг беседки в продолжение игры не пошевелились, и, когда он кончил свои чудные вариации, слушатели долго еще слушали, не переводя духа, разразились, наконец, общим вздохом и



снова замолчали.

Я молча взял его за руки и знаком просил его выйти из беседки. Мы вышли и долго молча ходили по дорожке, как бы боясь заговорить. Наконец я, овладев собой, спросил его:

— Где вы учились?

— Сначала дома.

— А потом?

— А потом барин с барыней ездили за границу и меня с собою брали, и, пока они жили в Берлине, я ходил несколько раз к *Шпору*. И больше нигде не учился.

— Да ведь Шпор играл на скрипке.

— Я на скрипке у него и учился. Скрипка и есть мой настоящий инструмент, а виолончель — это уже так.

— Что же вы намерены теперь с собой делать? Ведь вы настоящий великий артист!

— А что мне с собою делать? Повеситься, ничего больше. Правду сказать, я и сам не мог ему ничего лучшего предсказать.

— Прошедшего лета, — заговорил он, — приезжал к нам из *Качановки* Глинка, слушал мою игру на скрипке и на виолончели, хвалил меня и просил барина, чтобы отпустил меня на волю. Они обещали ему, но тем, кажется, и кончилось.

— Не унывайте, молитесь Богу. Даст Бог, все устроится.

— Я не отчаиваюсь, Михайло Иванович, кажется, добрый такой, на него можно надеяться.

— Совершенно можно, если только он про вас не забыл. Напишите вы ему письмо.

— Написать-то я напишу, да как же я перешлю его? Ведь я адреса не знаю.

— Я знаю, и вы передайте письмо мне. Напишите письмо сегодня, а я завтра буду в городе и подам его на почту.

В это время мы подошли к беседке, и он спросил меня, наклонясь к виолончели:

— Не сыграть ли вам еще что-нибудь?

— Весьма вам благодарен. Вы устали, отдохните немного и приготовьте к завтраму письмо.

И мы расстались.

После ужина (перед восходом солнца), раскланявшись с хозяином и хозяйкой, я, не заходя в табор, пошел в село нанять лошадь с телегой для совершения обратного путешествия до города или хоть до почтовой станции. Но увы! во всем огромном селе ни лошади, ни телеги не оказалось. Нечего сказать, мужики зажиточные! Пьяницы, я думаю, да лентяи по большей части, а то как бы не найтись во всем селе одной лошади с телегой. Удивительный народ наши мужики: не припугни его, так ничего и не будет. А вас, однако ж, как видно, чересчур припугнули, подумал я, глядя на обнаженное село.

Делать нечего, отправился я к жидам в корчму и нанял у него (разумеется, за жидовскую цену) клячу на пять верст до какой-то фермы. А там, уверял меня жид, хоть четверку можно нанять до самой Прилуки.

С помощью услужливого Тараса Федоровича (виолончелиста) мы уложили кое-как свою мизерию и выехали из села по дороге в Прилуку.

— Скажите мне, что это такое за ферма, на которую он нас теперь везет? — спросил я у своего полусонного ментора.

— Ферма? Это хутор Антона Адамовича. Прекраснейшие люди, т. е. он и Марьяна Акимовна. Прекраснейшие люди. Заедем, непременно заедем! Я уже их давно не видел.

— Пожалуй, заедем. Мне теперь заодно уж шляться, пока не выберусь на почтовую дорогу.

— Не будете жалеть. Антон Адамович презамечательный человек. Он, изволите видеть, начал и кончил свою службу во флоте лекарем. Путешествовал раза два вокруг света, оставил службу. Получает себе полный пансион. Да теперь приватно занимает место домашнего лекаря у нашего амфитриона, а он ему вдобавок еще и хутор подарил со всеми угодами. Чего ж еще? Живи да Бога хвали.

— И давно он уже живет здесь?

— Да будет лет около десяти с небольшим.

— Что они, семейные люди?

— Нет, только вдвоем. Правда, под их непосредственным надзором воспитываются две дочери помещика, премиленькие дети, и они-то, можно сказать, и заменяют им настоящих детей. Одной, я думаю, будет уже лет около шести, а другая годом меньше.

— Что же их не видно было на бале? Ведь они, я думаю, уже качучу танцуют. А это, вы знаете, какое украшение бала.

— Нет, я думаю, что они еще качучу не танцуют. И, знаете, мать хочет их воспитать в совершенном уединении и после выпустить их на свет совершенно невинных, как двух птенцов из-под крылышка. Знаете, мне эта идея чрезвычайно нравится. Нравственно-философская и, можно сказать, поэтическая идея. Как вы думаете?

— Действительно, поэтическая идея, но никак не больше. Я не подозревал, однако ж, чтобы у Софьи Самойловны были дети. Она еще так свежа.

— И прекрасна, прибавьте!

— Действительно, прекрасна.

В это время повстречался нам мужик и, снявши свой соломенный брыль, поклонился. И когда мы проехали мимо его, то он все еще стоял с открытой головой и смотрел на наш экипаж. И, вероятно, думал: «Чорт его знае, що воно таке — чи воно пань? Чи воно жида?» Паны, да еще из балу возвращающиеся.

Конечно, вы знаете лубочную картинку, изображающую, как жида на шабаш поспешают. Много было общего между этою картинкою и нашим экипажем — пожалуй, и пассажирами. Как

же тут было мужику не остановиться и не полюбоваться таким величественным поездом? А надо вам сказать, что пыль не скрывала нашего великолепия, потому что мы двигались шагом, и только наши особы торчали из глубокой жидовской брочки, а сам хозяин шел пешком, погоняя свою тощую клячу.

Несколько раз до меня долетали какие-то жидовские слова, со вздохом произносимые нашим возницею. И так часто повторял он одну и ту же фразу, что я невольно ее затвердил. И просил его перевести мне ее, на что он неохотно согласился, уверяя меня, что [то] были нехорошие слова. «Такие скверные, — прибавил он, — что об них и думать нехорошо, а не то, чтобы еще их говорить». Когда же я ему посулил гривну меди на водку, то он, посмотревши на меня недоверчиво, сказал: «Уни хушавке мес. По-вашему будет означать, что живой человек без денег — все равно, что мертвый».

Настоящая жидовская поговорка.

Вот мы и едем себе тихонько по дорожке между прекраснейшей зелени, освещенной утренним солнцем. Роса уже немного подсохла, и кузнечики начинали в зеленом жите свой шепот. Такой тихий, такой мелодический шепот, что если бы меня не укусила муха за нос, то я непременно бы заснул. Согнавши проклятую муху, я невольно взглянул вперед. Боже мой, да откуда же все это взялось? Представьте себе, из зеленой гладкой поверхности, можно сказать перед самым [носом], выглянули верхушки тополей, потом показались зеленые маковки верб. Потом целый лес расстался под горою, а за ним во всю долину раскинулось, как белая скатерть, тихое светлое озеро.

Прекрасная, душу радующая картина!

Я растолкал своего товарища и показал ему рукою на великолепный пейзаж.

— Это ферма Антона Адамовича. Мы тут встанем и пойдем через рощу пешком, а он пускай остановится около млына под горою.

Сделавши наставление жиду, мы пошли к роще, но в рощу мы не так легко попали, как думали, потому что она обведена довольно широким рвом, а противоположная сторона рва была защищена живою изгородью, т. е. усажена крыжовником. Взавшись с приятелем под руки (чего я, между прочим, терпеть не могу), пошли вдоль изгороди, уставленной высокими роскошными тополями. Из-за тополей кой-где просвечивалась молодая березовая рощица или темнел стройный молодой дубняк. То вдруг стройный ряд тополей прерывался усевшимся над самым рвом старым дубом, протянувшим свои живописные ветви далеко за ров, на самую дорогу.

Пройдя добрые полверсты, мы дошли до угла изгороди и повертели влево по тропинке, идущей параллельно со рвом под гору. При этом повороте нам открылось во всей красе своей тихое светлое озеро, окаймленное густым зеленым камышом и раскидистыми огромными вербами. Подойдя к озеру, мне так и хотелось окунуться раза два-три в его прозрачной воде. Но вожатый мой заметил мне довольно основательно, что подобное действие было бы неприлично. Тем более, что в это время мы подошли к воротам парка, осененным двумя старыми вербами. Мы без труда отворили ворота и вошли в парк. Длинная тенистая дорожка вела к дому, вдали белеющему сквозь ветвей. Не доходя до дома, мы в стороне, недалеко от дороги, между деревьями увидели человеческую фигуру в белой полотняной блузе, в соломенной простой шляпе и с сигарою в лице.

— Антону Адамовичу имеем честь кланяться! — закричал мой вожатый. Фигура в блузе

приподняла шляпу и, вынувши сигару из лица, сказала:

— Добро жаловать!

Мы подошли друг к другу поближе. Это был сам хозяин парка или фермы. Свежий коренастый старик самой немецкой физиономии. Я был отрекомендован моим разбитным путеводителем со всеми прилагательными, на что Антон Адамович с добродушной улыбкой протянул мне руку и проговорил:

— Очень рад.

Я с своей стороны проговорил тоже какую-то лаконическую вежливость, и мы вышли снова на дорогу. Не успели мы ступить несколько шагов, как к нам выбежали из-за куста цветущей душистой черемухи две белокурые прекрасные девочки лет пяти или шести и бросились к Антону Адамовичу, крича:

— А что, испугали! Испугали!

Антон Адамович молча указал им рукою на нас, и девочки оставили его и спрятались за куст черемухи.

Тем временем мы вышли на зеленую площадку, примыкающую одной стороной к озеру, а другой к крылечку чистенького беленького домика, кругом усаженного кустами сирени.

Дивное впечатление произвела на меня эта тихая грациозная картина.

Вслед за нами девочки выбежали на лужок, а из дома на крылечко [вышла?] молодая, прекрасная собою женщина, с книгою и с зонтиком в руке, и пошла к детям. Это была гувернантка-француженка, как я после узнал.

Мы вошли на крылечко, и хозяин предложил нам отдохнуть в тени, а сам пошел в дом.

Я на досуге залюбовался на детей, играющих на зеленом лужке, и, правду сказать, на стройную, величественную фигуру прекрасной гувернантки, залюбовался до того, что не заметил, как к нам вышла на крылечко сама хозяйка.

Я, поклонившись, извинился в своей рассеянности.

— Ничего, ничего, любуйтесь. У нас, слава Богу, есть на что полюбоваться. — И она лукаво улыбнулась и обратилась к моему товарищу. Тот начал было рекомендовать меня, но она ему сказала нецеремонно:

— Не беспокойтесь, мне уже Антон Адамович отрекомендовал. А вы лучше расскажите, каково вы повеселились на бале.

И приятель мой пустился описывать ей бал, а я тем временем стал рассматривать нецеремонную хозяйку дома.

Это была лет тридцати пяти, по крайней мере, прекрасно сохранившаяся брюнетка, с большими выразительными карими глазами, с довольно свежим для ее лет румянцем на полных щеках, со вздернутым носом, с прекрасными белыми крупными зубами и с едва отвисшим подбородком. А в целом она была настоящий тип малороссиянки; даже голос ее, и особенно произношение, напоминал мне мою землячку, какую-нибудь чиновницу средней руки

или высокой руки протопопшу, несмотря на то, что она была одета, как настоящая барыня.

— А нуте вас с вашим балом, — проговорила она скороговоркой. Остановилась в дверях да и затараторила: — Прошу покорно в покои. Вы хоть с балу сегодня, а верно, еще чаю не пили. Правду сказать, и мы еще только что поднялись.

Я пошел вслед за хозяйкою. А товарищ мой, как человек знакомый с местностью, пошел отыскивать жида и распорядиться насчет помещения.

В первой комнате, довольно большой, встретил нас Антон Адамович, уже не в полотняной блузе, а в сером пальто из летнего трико, и просил меня садиться без церемонии.

— А вы, Марьяна Акимовна, пошлите свою Ярину просить к завтраку Адольфину Францовну с детьми.

На зов Марьяны Акимовны явилась горничная, скромная и миловидная, в деревенском костюме. И, получивши приказание от Марьяны Акимовны на чистом малороссийском языке, вышла из комнаты.

Через несколько минут вошла в комнату гувернантка с двумя девочками, а за нею и мой товарищ. И все мы уселись вокруг стола, увенчанного изрядным самоваром.

Если бы я не знал, чьи это были дети, то я подумал бы, что Марьяна Акимовна была им настоящая мать, — так мило, так матерински мило она ухаживала за ними. И, к немалому моему удивлению, она, обращаясь к гувернантке, разговаривала с нею по-французски. «Вот тебе и чиновница средней руки! Вот тебе и протопопша высшей руки!» — подумал я. Я был просто очарован Марьяной Акимовной, и если б она обращалась к своей Ярине (кажется, единственной прислуге) хоть на великороссийском диалекте, то я подумал бы, что я имею счастье видеть перед собою по крайней мере графиню или хоть просто даму высшего полета.

Такова сила предубеждения против своего родного наречия.

За чаем я случайно узнал имена двух девочек; одну, кажется старшую (потому, что они обе одинакового роста), звали Лизой, а другую Наташей. И так они были похожи одна на другую, что, пересади их с места на место, то и не знал бы, которая из них Лиза, а которая Наташа. А обе они были чрезвычайно похожи на свою милую маменьку.

Хозяйка, между прочим, обратилась ко мне и спросила, понравился ли мне концерт в Дигтярях?

— Ведь уж, верно, там не обошлось без концерта? — прибавила она.

Я отвечал утвердительно.

— А каков виолончелист? Не правда ли, прекрасный?

— Превосходный! — отвечал я.

— Это наш большой приятель, и, кроме того, что он артист превосходный, но нужно знать, что он и человек самого нежного, самого благородного сердца. Но что будешь делать? — прибавила она со вздохом. — Лиза и Наташа плачут, когда не видят его два дня сряду. А про Адольфину Францовну и говорить нечего, — сказала она шутя и поцаловала гувернантку в загоревшую щеку. Из чего я заметил, что она понимает по-русски.

Мне было чрезвычайно приятно слышать подобный отзыв о человеке, которого я с одного разу полюбил, как что-то близкое моему сердцу.

После чая Антон Адамович обратился к нам и просил в свою хату.

— Я к ним только в гости захожу, а хата моя там, в саду. — И он взялся за свою шляпу. И мы последовали его примеру.

Белая, соломой крытая хата, к которой нас привел Антон Адамович, стояла между фруктовыми деревьями и служила кабинетом Антону Адамовичу и вместе караульной. Чисто немецкая штука!

Хата Антона Адамовича, как вообще малороссийские хаты, разделялась сенями на две половины: собственно на хату с комнатою и на так называемую комору. В коморе, освещенной одним окном, помещалась у него аптека и библиотека. В сенях — лаборатория; это можно было заключить из стоявшего на широком камине алембика, реторты, стеклянных и глиняных банок. Стены светлицы, или кабинета, были украшены луками, стрелами, томагауками и другими орудиями дикарей, что и свидетельствовало о кругосветном странствовании Антона Адамовича.

Около стен стояло две кушетки, а между ими, у стены, простой дубовый стол и на нем электрическая машина.

— Не угодно ли будет отдохнуть с дороги, а я пока наведаюсь в Дигтяри: ведь я их домашний медик. До свидания.

И он оставил нас в своем кабинете совершенными хозяевами.

— Не думал я, отправляясь на бал, попасть в кабинет ученого путешественника, и вдобавок путешественника скромного, — подумал я вслух, когда мы остались одни.

— Да это что еще! — сказал мне товарищ. — Вы загляните в комнату, вот где редкости.

И действительно, редкости. Во всю длину комнаты, около стены, дубовый широкий стол уставлен разнообразнейшими и красивейшими раковинами тропических морей. А посередине стола, как раз против окошка, плоский ящик в аршин длины и ширины, со стеклянной крышкой, заключающий в себе нумизматические редкости Антона Адамовича.

Между разной формы и величины монет я увидел австрийский талер 17 века с глубоко вдавленным клеймом, изображавшим московский герб.

— Не правда ли, любопытная монета? — сказал мне товарищ, указывая на талер, — или лучше сказать, любопытно[e] клеймо.

— Но что оно значит, это клеймо? — спросил я его.

— А вот, извольте видеть, когда в 1654 или 5-м году ходил наказным гетманом Иван Золотаренко с полками малороссийскими добывать Смоленска московскому царю, то, не знаю, почему-то наши козаки не захотели брать жалованья московскою монетою; вот им и выдали австрийскими талерами, положивши московское тавро на каждый талер.

Налюбопытствовавшись редкостями Антона Адамовича, я вышел в сад, оставивши своего товарища помечтать наедине, то есть маненько приуснуть.

Я обошел весь сад или, лучше сказать, парк и не мог довольно налюбоваться прелестью деревьев, чистотою дорожек и вообще истинно немецкой аккуратностию, с какой все это содержится. Например, у кого вы увидите, кроме немца, чтобы между фруктовыми деревьями были посажены арбузы, дыни — и даже кукуруза? В Германии это понятно, но у нас это просто непостижимо.

Из саду вышел я на греблю, усаженную вербами, полюбовался чистенькой, аккуратной мельницей об одном шумящем колесе, и, пройдя плотину, я очутился в селе. Село всего-навсего, может быть, хат двадцать. Но что это за прелесть! Что ни хата, то и картина.

«Вот, — подумал я, — и не великое село, а весело[е]». Попробовал я у встретившегося мужика спросить, можно ли будет нанять у них лошадей до Прилуки.

— Можно, чому не можна, — хоть пару, хоть две пары, так можна!

— Хорошо, так я зайду после, поторгуюсь.

— Добре, поторгуйтесь.

За селом я увидел панскую клуню, или господское гумно, уставленное скирдами разного хлеба. Подходя к гумну, я встретил токового, и он показал подведомственный ему ток, или гумно. Я как не агроном, то и смотрел на все поверхностно и расспрашивал тоже поверхностно. И из всего виденного и слышанного мною заключил, что не мешало бы записным агрономам поучиться кой-чему у Антона Адамовича или хоть у его *токового*.

Насчет винокурни, когда спросил у него, почему, дискать, Антон Адамович, имея столько хлеба, не построит себе винокуренку, хоть небольшую, [токовой ответил]:

— Бог их святой знае — я и сам им говорил, что построить хоть небольшую. «Зачем, — говорить, — что[бы] пьяницы голых пускать по свиту? Не нужно!» — Они у нас такие чудные, и, Боже сохрани, как они того проклятого вина не любят.

— Действительно, странный человек. Ну, а мужики у вас в селе есть-таки пьющие?

— Ни одного.

— Прекрасно! Куда же вы сбываете свой хлеб?

— А куда сбываем? Никуда больше, как у Дигтяри. Видите, паны там бенкетуют, а мужики голодают. Да еще мало того: в селе, кроме корчмы, что ни улица, то и шинок, а в каждом шинке, для приману людей, шарманка играет. Вот мужик бедный и пропивает последнюю нитку под немецкую музыку. Сказано — мужик дурак.

«Зато паны умудрились! О филантропия!» — подумал я и простился с токовым.

Подходя к гребле, я невольно остановился полюбоваться старыми вербами, опустившими свои длинные зеленые ветви в светлую прозрачную воду. А из-за этих роскошных ветвей, с противоположной стороны пруда, выглядывает из темной зелени беленький, улыбающийся домик Антона Адамовича, и как красавица любит свою прелесть перед зеркалом, так он любит собою в прозрачном тихом озере.

«Благодать!» — подумал я и пошел через греблю к кокетливому домику.

К этому времени Антон Адамович возвратился от своих пациентов и, к великой моей радости, привез с собою милого моего виртуоза, и с виолончелью. Мы встретились с ним при входе в сад и дружески приветствовали друг друга, как самые старые знакомые.

К нам подошла Марьяна Акимовна и нецеремонно взяла меня за руку и сказала:

— Вы должны быть благороднейший человек, коли полюбили нашего милого Тараса Федоровича. От души вам благодарна.

Я молча поцаловал ее руку. В это время подходил к нам Антон Адамович.

— Посмотри, посмотри, что наш гость делает! — сказала она, обращаясь к мужу.

— Ничего, ничего, — говорил Антон Адамович, улыбаясь. — А не лучше ли будет, если мы пойдем да с борщом покуртизаним? Как вы думаете, Марьяна Акимовна?

— И в самом деле лучше. Прошу покорно, господа, — сказала она, обращаясь к нам, и мы пошли обедать.

Много ли из вас, господа, имеющие хоть одну крепостную душу, посадят рядом с собою крепостного человека, хоть бы этот человек был величайший гений в мире?

Ручаюсь, что ни одного не найдется, кроме истинно благородного Антона Адамовича.

Тарас Федорович сидел между шалуньями Лизой и Наташей, и они ему, бедному, покоя не давали во время обеда. Чудное! благородное равенство! Вот бы как надо людям жить между собою. Да что же ты будешь делать? Нельзя. Между прочим, я услышал несколько французских фраз, произнесенных Тарасом Федоровичем — с гувернанткой. Этим окончательно полонил меня мой милый виртуоз.

После обеда мы, т. е. мужчины, отправились к Антону Адамовичу в хату покурить. Но так как [я] человек некурящий и виртуоз мой оказался таким же, то мы пошли себе гулять по саду, пока не вышли на небольшую лощину, на которой стоял небольшой стог свежего сена. Не устоял я против такого могучего соблазна. Снявши галстук и сертук, прилег, опустил на ароматное сено. И за мною, разумеется, и товарищ мой тоже. А чтобы дрема не одолела, я повел издали речь о двух девочках, живших, так сказать, на хлебах у почтеннейшего Антона Адамовича.

— Какие милые, прекрасные дети! — сказал я.

— И, прибавьте, счастливые дети. Я не знаю, что бы из них было, — продолжал он, — если б не существовало около нашего роскошного села этой фермы и этих добрых, благородных людей!

— Да, в самом деле, расскажите мне, что это за оригинальная мать, которая воспитывает своих детей таким образом. Мне кажется, что в этом возрасте детям никто не может заменить матери?

— Марьяна Акимовна им совершенно ее заменила. Вот что: Софья Самойловна, мать их по названию, великосветская дама. А главное — красавица. Красавица, которая конфузится, когда ее кто спросит о здоровье ее детей. Для нее это все равно, что сказать: «Как вы, Софья Самойловна, подурнели». И притом, как дама светская, она после каждого бала (а их у нас в году бывает три, а в високосный и четыре) должна отдать визиты своим гостям, а гостей, вы сами видели, сколько наехало — а 17 сентября так вдвое столько наедет, несмотря ни на



какую погоду, потому что она сама тогда бывает именинница. Пока отдаст визиты, смотрит — другой бал готовится, там третий. Так и год проходит. А там, если выберется время, надо и в Петербург съездить. «А то, — говорит, — между этими хохлами совсем очерствеешь». Так сами посудите, до детей ли ей при такой жизни. И, по-моему, она лучше ничего выдумать не могла, как отдать их на руки Марьяне Акимовне.

— Я с вами согласен, что она умно сделала; но хорошо ли, это другой вопрос.

— Конечно, здесь сердце матери спрятано под себялюбием светской красавицы. Я слышал, однако ж, она недавно как-то о них вспоминала. Года через два она хочет их отправить в Смольный институт. В Полтавском, говорит, они хохлачками сделаются.

— И то правда. Как же она не побоялась их отдать Марьяне Акимовне? Или она думала оградить их француженкою-гувернанткою да немкою-горничною?

— Какое! Немецкая горничная сама скоро сделается хохлачкою, а про гувернантку и говорить нечего. Послушайте, что я вам расскажу. Адольфине Францовне вздумалось учиться говорить по-русски. Вот Марьяна Акимовна и ну ее учить, — да вместо того чтобы по-русски, выучила ее по-малороссийски. Софья Самойловна чуть было не поссорилась из-за этого с Марьяной Акимовной. И знаете, что еще: она прекрасно поет некоторые наши песни. Будем ее просить, чтобы она нам хоть одну спела.

— Непременно.

— Вон они! Вон они! — услышали мы невдалеке детские голоса. И едва успели мы надеть сертуки, как подбежали к нам Лиза и Наташа и, ухва[тивши] за полы сертука Тараса Федоровича, потащили в сад, приговаривая: — Пойдемте! пойдемте! Вас мама просят играть.

Пройдя несколько шагов вслед за арестантом, я увидел прислонившуюся к дереву Адольфину Францовну и, подойдя к ней, сказал ей какую-то любезность по-малороссийски, на что она, сделавши милую гримасу, очень незастенчиво отвечала мне: «Спасыби». Мы пошли вслед за детьми, разговаривая, как короткие знакомые. Между прочим, в доказательство своего знания в малороссийском языке, [она] прочитала мне два стиха:

Катерино, сердце мое,  
Лышенько з тобою.

И с таким милым выражением прочитала она эти стихи, что, не зная я, что она француженка, то я, не запинаясь, сказал бы, что она моя истинная землячка.

Любезничая с mademoiselle Адольфиной по-хохлацки на французский лад, мы немного отстали от детей и арестованного артиста. И когда подошли к дому, то наш артист уже на крылечке играл на скрипке плясовую малороссийскую песню. А Лиза и Наташа перед крылечком, с поднятыми ручонками, как бы прищелкивая, танцевали, приговаривая:

Гоп-чук, гречаныки,  
Гоп-чук, печении.

Антон Адамович, сидя на крылечке, добродушно улыбался, а Марьяна Акимовна брала поочередно детей на руки [и] целовала с самой искренней материнской нежностью. Поодаль стояла немка-горничная и, увлекшись живым мотивом песни, прищелкивала в такт пальцами.

Одни простодушные счастливцы могут группировать из себя подобную картину.

В саду, кроме хаты Антона Адамовича, была еще небольшая хатка с навесом, и вместо завалин стояли вокруг решетчатые деревянные скамейки, а перед хаткою — старая липа, тоже со скамейкою вокруг, только не деревянною, а дерновою. Хатка — это была мастерская или рабочая Марьяны Акимовны. Здесь сушились фрукты, варились варенья и создавались разные великолепные настойки и наливки. А под липою Марьяна Акимовна отдыхала по трудах.

В эту хатку на все лето выносилось фортепьяно, потому что Марьяна Акимовна, несмотря на свои прозаические годы и занятия по части спитобной и съедобной, осталась в душе артисткой и любила в часы досуга забывать свое прозаическое насущное существование и уноситься в мир созвучий, в небесные пределы божественной фантазии.

Часто и долго, сидя под липою, слушал и добрый Антон Адамович, куря свою сигару, слушал — и холодные практические думы таяли, как снег перед лицом весеннего солнца. Немецкая фантазия оживала, сигара гасла во рту, и старик молодец.

В эту-то заветную хатку Марьяна Акимовна просила своих гостей чай пить.

После чаю в хатке зажгли свечи. М-lle Адольфина без всяких просьб и уговариваний, как это обыкновенно бывает с порядочными барышнями, села за фортепьяно, а Тарас Федорович вооружился виолончелью. И после нескольких аккордов тихо, стройно, как будто с неба раздалась одна из божественных сонат божественного *Бетговена*.

Мы все остались под липою и в продолжение сонаты сидели, притая дыхание; даже резвые дети — и те прильнули к Марьяне Акимовне, затихли и только, улыбаясь, посматривали друг на друга.

За сонатой Бетговена были сыграны с одинаковым мастерством и чувством две сонаты *Моцарта* и после некоторые места из знаменитого «Реквиема». И в заключение совершенно неожиданно:

Ходыть гарбуз по городу.

Дети запрыгали около Марьяны Акимовны. А Антон Адамович пошел в хатку закурить сигару.

Тарас Федорович такие раскинул вариации на этот полувеселый, полугрустный мотив, что дети опять молча прильнули к коленям Марьяны Акимовны, а у Антона Адамовича опять сигара погасла.

Многие ли из людей в блеске и роскоши проводят свои длинные вечера так нецеремонно-просто и так возвышенно-изящно, как мы, простые, почти бедные люди, провели этот незабвенный вечер? Я думаю, немногие. И выходит, что истинно прекрасное и возвышенно-духовное не нуждается в ремесленных золоченых и даже золотых украшениях.

Кончивши вариации, артисты наши вышли из хатки и обратились с просьбою к Марьяне Акимовне, чтобы и она сыграла для них что-нибудь. Она отказывалась. Мы присоединились к ним — решительно ничего не помогло. Завтра, говорит, я вам сыграю, а то сегодня это значит — после меду хрену. Пойдемте лучше гулять. [В]он, смотрите, из-за деревьев луна выглядывает. И с этими словами вошла в хатку, погасила свечи, притворила и замкнула двери, и все мы, весело разговаривая, пошли любоваться, как полная луна из-за мельницы и из-за старой вербы выглядывает и отражается в темной прозрачной воде.

Я совершенно был очарован и декорацией, и этими добрыми, простыми людьми.

Долго мы еще гуляли по саду вдвоем с Тарасом Федоровичем, — он меня просто приворожил к себе.

Он (как это обыкновенно бывает с доверчивыми добряками) рассказал мне историю своего печального детства, без всякого с моей стороны домогательства (как это тоже обыкновенно бывает с пишущей братией). Он рассказал мне потому, что я его со вниманием или, лучше сказать, с участием слушал.

— Отца, — говорил он, — я не помню, и мать моя мне никогда о нем ничего не говорила. Хаты у нас своей тоже не было, и мы, как у нас говорят, жили в соседях, то есть переходили от одного мужика к другому, пока я начал ходить. Тогда она, как стала уже свободнее, то хотела было наняться у кого-нибудь на год, но ее никто не хотел нанять, не знаю почему: может, из-за меня или потому, что она была такая худая и бледная. Только, обойдя все село без успеха, нанялась наконец у жида в корчме. Не могу вам сказать, сколько именно лет она служила у жида, только знаю, что я уже был порядочный мальчуган, когда она умерла, — а умерла она, сколько я припоминаю, от чахотки. И, как теперь помню, за несколько дней перед смертью пришла в свой чулан или, лучше сказать, стойло в стодоле, слегла и уже больше из стойла не выходила. За несколько минут перед ее смертью я принес ей воды в кружке. Но она уже пить не могла и говорить тоже, а только поманила к себе рукою, и когда я нагнулся к ней, она едва-едва прикоснулась к моей голове рукою, поцеловала меня, и две слезы выкатились из ее потухающих очей. Она тихо вздохнула и умерла.

Сотский похоронил ее [за] тот рубль, что оставался у жида, ею не полученный. А я шлялся по селу, пока не пристал к партии нищих. Между нищими был слепой кобзарь, или бандурист; ему и рекомендовали меня как мальчика скромного. Он и заменил мною своего прежнего жожака.

И, знаете, мне понравилось мое новое положение, [по]тому что я имел хоть какой-нибудь, а все-таки приют. А еще больше мне нравился слепец, которого я водил. Он был еще молодой человек и, помню, чрезвычайно сухощавый и с длинными пальцами. А в особенности мне нравилось, когда он сам для себя, медленно перебирая струны бандуры, тихонько напевал:

На мори сынему, на камени билому  
Ясный сокол квылыть-проквыляе...

Что-то необыкновенное представлялось моему детскому воображению в звуках и в словах этой унылой песни.

Вот такой же, как и теперь, был в Дигтярях бал, с тою только разницею, что тогда и для нищих обед готовили, а теперь уже не готовят. Вот и мы с толпами нищих пришли на обед. Вот мы сидим себе под деревом, и в ожидании обеда, настроивши кобзу, заиграл мой кобзарь. Нас народ так и оступил. Вот он играет, а я смотрю по сторонам и вижу, к нам [идут?] господа, и с барышнями. Толпа, разумеется, расступилась перед господами, и сама Софья Самойловна подошла ко мне и, потрепавши меня по щеке, проговорила: «Какой хорошенький! — И, обратясь к господам, сказала: — Я его непременно возьму к себе в пажи».

Так и сталося. На другой день я был уже в числе многочисленной дворни. Но как я, не знаю, почему-то оказался неспособным для должности пажа, то меня начали учить пению, и я оказывал успехи. А потом стали учить и играть сначала на скрипке, а потом и на виолончели. Вот вам моя простая история, — прибавил он и замолчал.

— Грустная, правду сказать, история.

— Что делать — прошедшее мое, действительно, грустно, но настоящее так безнадежно, так безотрадно, что если б не эти благородные люди, то я не знал бы, что с собою делать.

— Не отчаивайтесь, друг мой, любите свое прекрасное искусство, и Господь успокоит вашу страждущую душу и пошлет вашему терпению счастливый конец.

— Не знаю, найдет ли мое письмо Михайла Ивановича в Петербурге.

— О, наверное, он никуда не уехал, это было бы известно.

— Да и можно ли надеяться, чтобы мое письмо могло иметь успех?

— Без всякого сомнения. Я очень хорошо знаком с Михайлом Ивановичем. Это добрейшее, благороднейшее создание, словом, это самый благодушный артист. Еще вот что. Я завтра расстанусь с вами, надолго, а быть может, и навсегда, но вы, и эти добрые люди, и эти часы, проведенные вместе с вами, так дороги моему сердцу, что для меня было бы величайшим подарком ваши хоть коротенькие письма. Прошу вас, извещайте меня хоть изредка. А о результате вашего письма Михайлу Ивановичу вы непременно меня уведомьте. Я вам завтра сообщу свой адрес.

И он обещался мне вести дневник и посылать его каждый месяц ко мне вместо писем. «Мне так приятно вам открываться во всем, и вы с таким вниманием слушаете меня, что я и тогда буду воображать, что рассказываю вам лично о моих впечатлениях».

В хате Антона Адамыча светился еще огонь, когда мы подошли к ней, но движения уже никакого не было. Виргилий мой так усердно храпел, что за хатой было слышно. Вскоре и мы ему начали вторить.

На другой день поутру я пошел было на хутор нанять лошадей с повозкою для перевезения себя с товарищем в Прилуку, но Антон Адамович догнал меня уже на гребле и воротил в дом, говоря, что порядочные люди так не делают. А Марьяна Акимовна и слышать не хочет, чтобы вы ранее трех дней оставили нашу ферму. Дети — и те даже заплакали, услышавши о таком вашем неделикатном поступке.

От Марьяны Акимовны я выслушал еще убедительнее рацею. «И не думайте, — говорила она, — и не помышляйте. Как на свете живу, то еще не видала, чтобы порядочные люди на другой же день из гостей уезжали, да еще и на мужицких конях. Этого не токмо что у нас, я думаю, и у немцев не водится. Так, Антон Адамович? Ты ведь немец. А?» — «Такой я немец, как [ты] немкиня», — проговорил Антон Адамович и засмеялся.

— Вот и Тарас Федорович останется у нас, — продолжала Марьяна Акимовна. — Ему теперь, после балу, совершенно там делать нечего. А Адольфина Францовна обещается нам петь сегодня малороссийские песни. А дети обещаются вам танцовать хоть целый день гречаныки.

— И метельцу, мамаша, — проговорили разом обе девочки.

Противустоять не было возможности, и я сдался. Виргилий мой заговорил было о службе, об обязанностях, о попечителе.

— Уж хоть бы вы молчали, а то разносились с своим попечителем, право, ей-богу! А еще старый знакомый. Пойдемте лучше в мою хату чай пить, а то с вами не сговоришься.

Переглянулись мы с Виргилием и пошли молча за Марьяной Акимовной.

Прогостили мы еще два дня у этих добрых людей, и в это время удалось мне сделать карандашом несколько видов счастливой фермы и почти одними чертами всю нашу компанию — а на первом плане Наташу и Лизу, танцующих гречаныки. Все это едва-едва набросано. Но вот уже проходит двадцатый год, как любовался я этой живой картиной. А, глядя на этот эскиз, я как будто снова люблю эту живую картину и даже слышу скрипку и прищелкивание пальцами немецкой горничной.

Мне кажется, никакое гениальное описание лиц и местности не может так оживить давно минувшее, как удачно проведенных карандашом несколько линий. По крайней мере, на меня это так действует.

На четвертый день нашего пребывания на благодатной ферме, часу в десятом утра, проводили нас, как самых близких своих друзей, гостеприимные и счастливые обитатели фермы со всем своим домом; даже Наташу и Лизу взяли с собой. И проводили не только через греблю, даже через село, до самой клуни. Тут мы уселись в спокойную *нетычанку* Антона Адамовича, запряженную парюю добрых коней, и покатались по гладкой извилистой дорожке.

Долго стояли друзья наши на одном месте и махали нам платками, а одна из девочек, чтобы виднее виден был ее платок, вскочила на плечи Антону Адамовичу и преусердно махала своим платком. Нетычанка покатила быстрее и быстрее, и группа наших друзей [стала?] едва заметна на горизонте. Еще четверть версты, маленькая ложбина — и друзья исчезли за горизонтом. Я взглянул еще раз назад, выехавши на пригорок, но, увы, кроме клуни и скирд, на горизонте ничего не было видно.

Мне стало грустно, так грустно, как будто я расставался с своими родными на долгое, на неопределенное время. Оно так и случилось.

Во всю дорогу приятель мой молчал, чему я был очень рад, потому что не чувствовал в себе способности вести самый пустой разговор. Вскоре на горизонте показалась нам Прилука, а несколько ближе из-за темного лесу выглядывали главы, белым железом крытые, соборной церкви Густынского монастыря.

Проезжая мимо этого обновляющегося замка-монастыря, меня чрезвычайно неприятно поразила новая, еще не оштукатуренная четырехугольная башня с плоской крышей, точно каланча.

— Что это такое за урод торчит? — спросил я у своего приятеля.

— Это колокольня вновь отделанной домашней настоятельской церкви, что над малыми воротами.

— И, верно, какой-нибудь досужий костромской мужичок смастерил эту штуку?

— Нет, извините, не мужичок, а настоящий патентованный художник!

— Как же он мастерски подделался под византийский стиль!

— Не извольте смеяться над нашим художником. Его торопят и денег не дают. А вот когда поедете из Прилуки в Нежин, так увидите в селе помещицы Н. настоящий храм царя Соломона, этим художником сооруженный. Уже на что наш просвещенный знаток и покровитель искусств, можно сказать меценат наших дней, Н., и тот посмотрел да только рот разинул, а про преосвященного и говорить нечего!

— Честь и слава вашему художнику!

Тем временем мы въехали в город. А через час я уже прощался с почтеннейшим педагогом, прося его для пользы науки записывать все, что касается археологии и вообще народного характера, как-то: пословицы, присказки, песни, предания и тому подобное. А наипаче просил его по временам извещать меня о наших добрых друзьях на ферме. Он обещался мне все исполнить по мере сил своих.

И мы расстались, и расстались надолго.

Расставаясь с моим путеводителем, не думал я тогда, что о я с ним надолго-долго расстануся. Я тогда думал, что авось-либо в будущем году поеду снова по Малороссии по поручению Киевской археографической комиссии, буду в Чернигове, а из Чернигова поеду через Нежин в Прилуку и по дороге посмотрю хваленый храм, воздвигнутый коштом помещицы N. и трудами патентованного художника, архитектора N., а в Прилуке погощу денек-другой у моего Виргилия, и, если можно будет, навестим по-прежнему достойнейшего Антона Адамовича и Марьяну Акимовну и полюбуемся их прекраснейшею фермою.

о Так я тогда думал. А вышло, что человек распределяет, а Бог определяет. Вышло то, что я в продолжение двадцати лет (со дня выезда моего из Прилуки) не только что не видел Киева, Чернигова, Нежина, Прилуки, и моего автомедона, и фермы, и всего, что я там видел прекрасного, я в продолжение двадцати лет не видел моей милой родины — ни даже звука родного не слышал.

Вот что иногда судьба с нами делает!

После двадцатилетнего моего странствования по нечужим краям возвращаюсь я в Малороссию и, проезжая смиренный город Прилуки, вспомнил я серенькой домик на углу грязных улиц и велел ямщику, или почтарю, остановиться у этого мизерного домика. Вылез я с телеги, вхожу на дворик. Меня встречают два мальчугана; я спрашиваю, здесь ли живет Иван Максимович С.

— Здесь! — отвечают оба разом мальчуганы.

— Дома он?

— Нет! Они в училище.

— А есть ли у вас дома кто-нибудь постарше вас?

— Есть маты дома, только они опочивают. Мы ее разбудим?

— Не нужно, не будите. Я после зайду.

И я поехал на почтовую станцию.

День был прекрасный и уже клонился к вечеру. И я, сложивши вещи свои, т. е. чемодан и кошомку, на крылечке станционного дома, а подорожную отдавая смотрителю, просил его не торопиться с лошадьми.

Учредивши все таким образом, я уселся на своей мизерии, т. е. на чемодане, и принялся рисовать прекрасно освещенную вечерним солнцем каменную церковь, довольно неуклюжей, но оригинальной архитектуры, построенную полковником прилуцким Игнатом Галаганом, тем самым, что первый отложился от Мазепы и передался царю Петру, за что и был, по смерти

полковника Носа, возведен в звание прилуцкого полковника и одарен великими маетностями в том же полку.

Пока я срисовывал сей памятник знаменитого полковника, солнце повисло над горизонтом и толпа школьников показалась на улице. А за толпою школьников, в некотором отдалении, появилась на улице и тощенькая, согбенная фигурка с зонтиком вместо палки в руке. Это был мой Виргилий, и я почти побежал к нему навстречу.

Долго мы стояли среди улицы друг против друга, и наконец, после подробных припоминаний, он протянул мне руку и сказал: «Антикварий! Антикварий! Так это вы? А я было уже вас совсем похоронил. Да как же вы переменялись! Совсем было не узнал!»

— Спасыби еще, что хоть вспомнили!

— Да я вас всегда вспоминал — да только по наружности не узнал. Прошу же вас покорнейше навестить меня в моей убогой келии.

И мы, разговаривая, подошли медленно к воротам серенького, давно знакомого мне домика.

У ворот, как это обыкновенно бывает в маленьких городах, стояла в землю вросшая скамейка. И мы молча посмотрели на нее и сели.

— Да, так вот вы и попутешествовали, — проговорил он грустно, — и свет Божий посмотрели. Чай, и за границей не раз побывали. А я, как залез в этот темный [угол], так и на свет Божий не показываюсь: сижу себе, можно сказать, без всякого движения.

И долго мы беседовали, вспоминая каждый из нас свое прошедшее. И, между прочим, он мне рассказал: он вскоре после нашего расставанья женился на благородной и прекрасно воспитанной, хотя и бедной, девушке. «И думал я с нею век свой прожить в счастья и любви. Но Бог судил мне в одиночестве век свой коротать». И старик заплакал.

— Братец! — раздался женский голос из-за ворот. — Идите в комнаты, пора вечерять, дети спать хотят.

— Накормите их, сестрица, и уложите. А мы еще немного здесь посидим. Сестрице! — прибавил он. — С нами гость сегодня вечеряет, то вы бы там что-нибудь лишнее, хоть карасика поджарили. Да послали б Феклу, знаете, насчет того, сестрице.

— Пошлю, братец.

— Да... На третьем году, — продолжал он с расстановкой, — нашего блаженства она оставила меня навеки. Правда, я не совсем еще сирота: она оставила мне малое дитя свое, для которого, можна сказать, и прозябаю я. В тот самый год у сестры моей муж скончался скоропостижно и оставил ее тоже с маленьким сиротою. Вот мы с нею и сошлись в один куток, да и делим свое горе, как нам Бог помогает. Детей я думаю, с Божиею помощью, в гимназию... а там...

— Братец, — раздался снова женский голос из-за ворот, — идите в комнаты. На дворе роса и холодно, а вы только во фраке.

— Сейчас! сейчас, сестрице! Пойдемте в нашу хату, а то и в самом деле как бы нам с вами не простудиться. Ведь мы с вами не можем похвалиться молодостью, цветущей здоровьем. Пойдемте.

И мы оставили скамейку и молча вошли в комнату.

Комнатка, в которой я двадцать лет тому назад провел несколько дней на холостую ногу, комнатка была та же, да не та. Бедность та же, да только бедность эта была умытая и принаряжена женскою рукою.

На чистеньком полу чистенькие половики, у окон беленькие занавески, на окнах бальзамины и герань в горшках. Стол, дощатый диван, табуретки липовые те же самые, да как-то иначе смотрели. Что значит женская рука в домашнем быту даже аккуратного мужчины!

В быту гражданских мужчин это еще не так резко бросается в глаза, как у военных. Например, зайдя вы в комнату холостого офицера, изба избой, так и несет от нее псиной и табачищем. А у женатого офицера тоже изба, да только в этой избе сундук, на котором у холостого денщик спит с собакою, у женатого он покрыт ковриком и заменяет диван. На дощатом столике, вместо табачницы и гвоздя для ковыряния трубок, пестренькая ярославская салфеточка, зеркальце и какое-нибудь женское рукоделье. Словом, в семейной жизни, даже в бедности, есть какая-то свежая материальная прелесть, а о нравственной прелести я и не говорю.

Из другой комнаты вышла к нам старушка в черном платье и в белейшем чепчике, такая милая, чистенькая старушка, какую я редко встречал на своем веку.

— Рекомендую вам: моя сестрица, Марья Максимовна.

Я поклонился.

— А они, сестрице, мой старый добрый знакомый N. N.

Я снова поклонился. А она проговорила:

— Прошу садиться.

Я сел. А Иван Максимович заглянул в другую комнату и, обращаясь ко мне, сказал:

— Какая у меня добрая, умная, догадливая сестрица. Представь[те], мне и в голову не пришло, чтобы предложить вам с дороги чаю, а ведь это как приятно. Я просто живу у нее, как у Бога за дверьми. Ну, попотчуйте ж нас, моя дорогая, моя бесценная хозяйка. А дети спать уже легли, сестрице?

— Уже легли, братец, — отвечала старушка, ставя на стол чашки с чаем.

— Ну, хорошо, я вам завтра их покажу. А по которому уже годочку им пошло теперь, сестрице? Они у нас, знаете, однолетки, — прибавил он, обращаясь ко мне.

— Да вот на Петра и Павла минет по двенадцатому.

— Уже по двенадцатому! Боже мой, с какою быстротою летят наши старые лета! — проговорил он как бы с самим собою.

— Двенадцать! — Двенадцать! Да!.. — почти вскрикнул он, ударивши себя по лбу ладонью. — Чуть-чуть было не забыл! У меня есть письмо на ваше имя, еще до моей свадьбы полученное мною. Так и лежит нераспечатанное. И знаете от кого?

— Не знаю! — отвечал я.



— От нашего почтеннейшего, благороднейшего Тараса Федоровича. Помните виолончелиста у Антона Адамовича на ферме?

— Боже мой, как не помнить! Я только хотел было спросить об нем у вас.

— Все расскажу, дайте время. Много трогательного и даже поучительного в жизни этого достойного человека. У меня даже есть записаны некоторые случаи из его жизни. Я, знаете, сам хотел было на старости лет пуститься в литературу. Да как прочитал Марлинского, так у меня и руки опустились. Что за блестящий, что за гениальный слог! Сестрице! потрудитесь там вынуть из нижнего ящика комода пачку бумаг, веревочкой перевязанных.

Старушка не замедлила внести порядочную пачку бумаг, сахарной веревочкой перевязанную, и, отдавая их братцу, спросила:

— Эти, братец, бумаги?

— Эти, сестрица, благодарю вас. Вот, — сказал он, обращаясь ко мне, — вот сколько перепорчено бумаги, а все это литература виновата.

И, развязавши бумаги, он стал их перелистывать. И, остановясь на лоскутке синей бумаги, он сказал:

— А помните ли, вы меня тогда просили записывать все, что я ни услышу, касающееся поэзии и философии нашего простого народа? Помните?

— Помню, — я говорю.

— Вот я и исполнил вашу просьбу. Здесь вы много премудрости найдете. Да где же это письмо? Уж не потерял ли я его? Нет, нет, вот оно. Я посылал его в Киев на ваше имя, а мне, знаете, и возвратили его. Вас уже в Киеве не было. И он подал мне пожелтевший конверт, говоря:

— А знаете что? Сегодня у нас среда. Погостите у нас до воскресенья, а в воскресенье пустимся мы с вами в путешествие — помните, как когда-то. Только не на бал, а просто-запросто на ферму. Там вы лично увидите и автора сего письма. А до воскресенья я разберу эти лоскуты, а может быть, и вам кое-что прочитаю.

Я согласился и, после долгих упрашиваний со стороны братца и сестрицы остаться ночевать у них, взял письмо и отправился на почтовую станцию.

Случалось ли вам читать письмо, написанное вашим искренним другом и полученное вами пятнадцать лет спустя? Кто не читал подобного письма, тому напрасно бы я стал рассказывать и описывать впечатление, произведенное на меня письмом моего достойнейшего друга Тараса Федоровича. Впечатление невыразимое. Впечатление, которое только тот понимает, кому случалось читать подобное письмо.

Главный эффект такого письма тот, что вы как будто только что проснулись и читаете строки, только вчера написанные, а пятнадцать лет вам покажутся каким-то неопределенным сновидением.

Вот что писал мне мой бесталанный друг.

«Я был близок к смерти или, лучше сказать, к помешательству, когда мы приехали в Петербург

и я узнал, что Михайло Иванович уже другой год за границею. Вот причина, почему мое письмо, которое вы ему переслали, осталось без всяких последствий. О! как горько! Как невыразимо горько нам, когда наши прекрасные, блестящие надежды разбиваются молотом неумолимой судьбы!

Я обещался писать вам сейчас же, как только узнаю какой бы ни был результат моего письма Михайлу Ивановичу. И вот уже проходит третий год, как я только что собрался с духом написать вам о своих так безжалостно разрушенных надеждах.

После бала или, лучше сказать, после того концерта, что вы мне так чистосердечно аплодировали и вследствие которого концерта я вас так полюбил, как родного моего брата, — так после этого бала, недели две спустя, у нашей Софьи Самойловны показался прыщик на левой щеке. Она его расцарапала. Из прыщика сделался веред. А из вереда к августу месяцу сделалась рана такая, что она едва ее рукою закрывала. Вообразите себе ее положение. Красавица — и не прошло месяца, как на нее смотреть нельзя было. Красавица, заметьте, такая, которая именем матери пожертвовала красоте своей. Не страдал так величайший музыкант Бетговен, когда оглох, и не страдал так великий ваш Буонарроти, когда ослеп, как она, бедная, страдала.

В половине августа решено было ехать в Петербург. В числе квартета и я был назначен. Радость мою только вы можете понять. Я думал: вот когда настал конец моим страданиям. А страдания только что начинались. Поехали мы. Дорогою и сам захворал. И, не доезжая Великих Лук, на станции Сыруты умер. Думаю, что она его во гроб вогнала своими капризами. И, правду сказать, ничего в свете не может быть ужаснее, как внезапно обезображенная красавица. Гиена, просто гиена.

По приезде в Петербург, разумеется, было не до гостей и не до квартетов. Лакейская же моя обязанность была невелика. Уберу поутру комнаты, да и марш на целый день, куда глаза глядят.

О, лучше бы я никогда не видал свету Божьего, чем видеть его, чувствовать и не сметь ни чувствовать, ни смотреть на него.

После того дня, в который я узнал, что Михайло Иванович за границей, я заболел — сначала лихорадкою, а потом горячкою, и месяц спустя я увидел или сознавал себя в Петровской больнице, что на Петербургской стороне.

Меня стали посещать по середам и по субботам товарищи мои, лакеи-виртуозы.

И во едину от суббот сказали мне, что наша Софья Самойловна скончалась под ножом какого-то знаменитого хирурга и мы остались сиротами.

Я плохо поправлялся, так плохо, что даже сам главный доктор Кох, проходя мимо моей койки, и не останавливался.

Весною, однако ж, я мог уже прогуливаться по длинному широкому коридору. А в мае месяце меня уже в полдень и в сад выпускали часа на два.

Надо вам сказать, что в Петровской больнице есть и женское отделение, в третьем этаже. И женщин выздоравливающих тоже выпускают в полдень погулять в саду.

Вот однажды я сижу на скамейке. Подходит ко мне больная в тиковом халате и в белом чепчике или таком же колпаке, как и я. Мы просидели молча, пока служитель не загнал нас в о

палаты.

На другой день была погода хорошая, и нас снова послали гулять в полдень. Походивши немного, я присел на скамейке. Вчерашняя дама снова приходит и садится около меня. Я как-то нечаянно взглянул ей в лицо и увидел, что она была красавица, но только такая исхудалая, такая грустная, что у меня сердце заболело, на нее глядя. Я не утерпел и спросил ее:

— О чем вы так грустите?

— О том, я думаю, о чем и вы: о здоровье.

Я не удовольствовался ее ответом и, немного помолчав, сказал ей: «Здоровье ваше возобновляется, да о здоровье так и не грустят, как вы грустите».

— Да, это правда, — сказала она и закрыла глаза рукою.

Служитель опять загнал нас в палаты.

Несколько дней сряду шел дождь. И я скучал, не видя моей знакомой незнакомки. Наконец дождик перестал, и нас опять выпустили в сад. Я прямо пошел к скамейке, и, к удивлению моему, на скамейке уже сидела моя грустная знакомка. Я ей поклонился, она мне тоже, с едва заметною, но такую грустною улыбкой, что я чуть было не заплакал.

— Вы, должно быть, страшно несчастны? — сказал я ей, садясь на скамейку.

— А вы счастливы? — спросила она, взглянув на меня так выразительно, что я затрепетал. И, придя в себя, взглянул на нее, а она все еще смотрела на меня с прежним выражением.

— Всмотритесь в меня, — сказала она.

Я силился посмотреть на нее, но не мог вынести устремленного на меня взгляда ее глубоко впалых больших черных очей.

— Неужели вы меня не узнаете? — спросила она едва внятным шепотом.

— Не узнаю, — ответил я.

— Так я, должно быть, страшно переменилась? — И, немного помолчав, сказала:

— Ну, так вспомните Качановку и 23 апреля 18... года. Что, вспомнили?

— Боже мой! неужели это вы, m-lle Тарасевич?

— Я, — едва она проговорила и залилася горькими слезами.

На другой день мы снова с нею встретились у заветной скамейки, и она мне рассказала свою грустную историю.

Я и без того писать или выражать свои мысли на бумаге не мастер, а как буду пускаться в отвлеченности да в отступления, то письму моему и конца не будет. Но гнусная история, которую мне про себя рассказала бедная m[-lle] Тарасевич, должна заставить и немного говорить, и глухого слушать.

О, если бы я имел великое искусство писать! Я написал бы огромную книгу о гнусностях,

совершающихся в с. Качановке.

Не помню, в какой именно книге я начитал такое изречение, что если мы видим подлеца и не показываем на его пальцами, то и мы почти такие же подлецы. Правда ли это? Мне кажется, что правда!

С этого я и рассказываю вам историю m[-lle] Тарасевич и качановского *пана*. А вы с нею что хотите, то и делайте. А если напечатаете, то это будет самое лучшее. Только перепишите ее по-своему, потому что у меня складу недостает.

Была у нас помещица П[рилуцкого] уезда, богатая помещица, душ около 4000, бездетная вдова, старушка, добрая такая, благочестивая, да Бог ее знает, что ей вздумалось: раз поехала она в Киев на поклонение, да и вышла замуж за молодого человека, красавца собою, некоего г. Арновского. (Она, может быть, бедная, в летах заматерелая, о наследнике чаяла, — не знаю.) И, сказано, человек из ума выжил — передала все свое имение, вместе с собою, в руки молодого красавца мужа. А он, не будучи дураком, повернул все по-своему. И то правда, ведь не на старухе же он женился, а на ее деревнях. Кроме разных улучшений по имению, от которых мужички запищали, он завел у себя оркестр (это прекрасно), сначала наемный, а потом и крепостной. Выстроил великолепный театр. Выписал артистов. И завел театральную школу, разумеется, крепостную. Пирам и банкетам конца не было. Старушка была в восторге от своего молодого мужа. Когда же собственные актрисы подросли и начали уже играть роли любовниц и одалисок, то он, смотря по возрасту и наружным качествам, учредил из [них] гарем на манер турецкого султана. Разумеется, подобное заведение в тайне не могло процветать, только странно, что последняя об нем узнала старуха жена. А узнавши все это, занемогла, бедная, от ревности и вскоре Богу душу отослала. На смертном одре она простила своего вероломного мужа и со слезами просила его исполнить ее последнюю волю, т. е. положить капитал в банк и на проценты его воспитывать трех сирот-девиц в Полтавском институте. Он, разумеется, поклялся в точности исполнить волю умирающей.

Он ее и исполнил, да только по-своему.

После смерти жены его выбрали предводителем дворянства, как человека достойного и благонамеренного. Он тут же у себя в уезде нашел не трех, а пять сироток и завел у себя в селе благородный пансион. Нанял учителя, какого-то отставного поручика, и гувернантку без аттестата, а главный надзор за нравственностью воспитанниц поручил сестре своей, грязной и красноносой старухе.

Когда сиротки стали подрастать, то им, кроме русской грамоты, стали преподавать и изящные искусства, то есть пение, музыку (игру на гитаре), танцы и сценическое искусство. И все это, разумеется, свои же крепостные наставники и наставницы.

В число этих-то несчастных воспитанниц попала и т[-lle] Тарасевич. Когда они уже порядочно подросли, то, которые покрасивее были, сделались, по ходатайству главной надзирательницы, украшением гарема — не как рабыни, а как благородные султанши. М[-lle] Тарасевич, хотя была и красивее всех их, умнее и благороднее, а главное, была тощенькая и потому-то не обратила на себя ласкового султанского взора. Не завидовала своим счастливым подругам (потому что они и на балах являлись и танцевали, и на театре являлись перед многочисленными гостями, разумеется, с крепостными артистами; да и в самом деле, не образ[ыв]ать же для них сироток-мальчиков благородного происхождения). Она, бедная, ничему этому не завидовала. А возьмет, бывало, себе потихоньку какой-нибудь роман из библиотеки да спрячется где-нибудь в саду, читает его да плачет. Так она прочитала все романы, какие только были в библиотеке, и вышло то, что она не знала, что с собою делать;

пуще прежнего похудела, — так и думали все, что умрет. Уже и в постель было слегла, на ладан, как говорят, дышала. Уже (поверите ли) и крест намогильный сделали, хотели было и гроб делать, да боялись, чтобы не укоротить, потому что люди, когда умирают, то, говорят, вытягиваются. А крест сделали сажени в две вышины, дубовый; выкрасил его домашний живописец зеленою краскою и на одной стороне намалевал распятие, а на другой скорбящую Божию Матерь. А внизу прибил железную доску и написал на ней: «Здесь покоится раба Божия Мария Тарасевич, воспитанница г. Арновского, скончавшаяся 18... года, ...месяца ...числа». Только случилось так, что она выздоровела, а умерла любимая горничная сестры г. Арновского. И умерла, говорят, не своею смертью. Она гладила утюгом своей барыне платье в воскресенье, да немного опоздала: уже во все колокола прозвонили, а платье не было готово. Вот барыня рассердилась, выхватила у нее из рук утюг, да и хватъ ее нечаянно по голове так, что та, бедная, тут же и ноги протянула. Правда ли, нет ли, наверное не знаю. А крест я сам собственными глазами видел и надпись читал. И, знаете ли, такой крест — это своего рода картина, особенно на убогом сельском кладбище, где все крестики бог знает какие: то пошатнувшиеся, а то и совсем упавшие, а то и просто десяток-другой могил совсем без крестов. А тут вдруг *фигура*. Да еще и какая фигура! Я думаю, г. Арновский сам рассчитывал на этот эффект: смотрите, дискать, как мы своих воспитанниц хороним! А вышло, что похоронили не воспитанницу, а горничную. Ну, да это все равно, лишь бы крест даром не пропал.

— Музыкантская была в одном флигеле с нашим пансионом, — так продолжала свой рассказ больная. — И когда я начала выздоравливать и понимать себя, то мне чрезвычайно приятно было слушать, когда они сыгрываются. Моему больному воображению представлялся какой-то необыкновенно чудный мир, особенно, когда весь оркестр, как лес или море вдали, шумит, и из этого неопределенного ропота выходит какой-нибудь один инструмент, скрипка или флейта. О! я тогда была выше всякого блаженства. Звуки эти мне казались чистейшею, отраднейшею молитвою, выходящей из глубины страдающей души. О, зачем я выздоровела, зачем навеки не осталась в том болезненно-блаженном состоянии!

В доме было прекрасное фортепьяно, и когда я могла уже выходить, то пошла прямо к нашему капельмейстеру и просила его, чтобы он меня научил читать ноты и показал первые приемы на фортепьяно. Он... О, я давно прокляла его за его науку! Зачем открыл он мне тайну сочетания звуков, зачем открыл он мне эту божественную, погубившую меня гармонию!

Я быстро поглощала его первые уроки. Так что не успели у меня на вершок волосы отрасти (я больна была горячкой), как я уже быстрее его читала ноты и вырабатывала свои пальцы на сухих этюдах *Листа*.

Но не одни звуки питали мое больное сердце. Мне нравилась сцена. Я прочитала все, что было в нашей библиотеке драматического (репертуар нашего домашнего театра мне не нравился), начиная с «*Синеуса и Трувора*» Сумарокова до «Гамлета» Висковатова. Я дни и ночи бредила Офелией. А делать было нечего: я для своего дебюта принуждена была выучить роль дочери *Льва Гурыча Синичкина*. Успех был полный. И я окончательно погибла!

Когда видели вы меня в Качановке, я уже тогда бредила петербургской сценой; домашняя для меня была слишком тесна. На несчастье мое, того же лета заехал к нам Михайло Иванович Глинка. Он тогда выбирал в Малороссии певчих для придворной капеллы.

Увидевши меня на сцене и услышавши мой голос и игру на фортепьяно, он решил, что я великая артистка. А я — о горе! мое горе! — я простосердечно ему поверила. Да и кто бы не

поверил на моем месте?

Не заметили ли вы тогда у нас на бале молодого, весьма скромного человека, с большими выпуклыми глазами, со вздернутым носом и большим ртом? Это был художник Штернберг. Он тогда у нас все лето провел. Кроткое благороднейшее создание!

Однажды я (мне аккомпанировал сам Глинка) пела для гостей из его еще не оконченной тогда оперы «*Руслан и Людмила*» арию, помните, в чертогах Черномора поет Людмила? Только что я кончила петь, посыпались аплодисманы, разумеется не мне, а автору. А когда все замолкло, подходит ко мне Штернберг со слезами на глазах и молча целует мои руки. Я тоже заплакала и вышла вон из зала. С тех пор мы с ним сделали друзьями. Я часто для него в сумерки пела любимую его арию из «*Прециозы*». И он каждый раз, слушая меня, плакал.

Спустя два года после моих успехов в Качановке г. Арновский с своею сестрицею начали собираться в Петербург на зиму. Я, разумеется, начала проситься с ними. Они долго не соглашались. Наконец, он согласился с условием. Но с каким условием! Вы понимаете меня?? Да! понимаете! И знаете что? Я согласилась! О! будь я проклята! проклята! и проклята! Я все забыла для искусства и для столицы, все! всем пожертвовала! И вот результат моей великой жертвы! — Нищая! в больнице и вдобавок под именем его крепостной девки!

Она за слезами не могла говорить.

На другой день я услышал от нее подробности такого рода. Впрочем, они так гнусны, что гнусно их и повторять.

Скажу вам вкратце конец ее бедственной истории. Приехала она в Петербург уже беременною и через несколько месяцев, не выходя из квартиры, разрешилась мертвым ребенком. После родов заболела горячкой. А г. Арновскому нужно было ехать в свою Качановку, вот он ее и отправил в Петровскую больницу под именем своей крепостной девки.

Вот вам и вся недолга.

Я пробыл еще две недели в больнице и каждый день, в урочные часы, выходил в сад, и садился на заветную скамейку, и дожидался несчастной больной.

Какой же в самом деле подлый эгоист человек вообще, а в особенности я. Мне стало на душе легче, я видимо стал поправляться после ее исповеди. Это значит, я доволен был, что есть несчастнее меня.

Страдальцы! воображайте так, и вы будете хоть на полграна менее страдать.

Я каждый день спрашивал у знакомого мне служителя из женского отделения: «Что № такой-то?» И он отвечал мне совершенно равнодушно: «Лежит». За день перед моей выпиской из больницы спросил я у служителя: «Что № такой-то?» — «В покойницкой!» — ответил он мне и пошел за своим делом, быть может, за длинною плетеною корзиною, вроде гроба, чтобы другого уже нестрадальца вынести в покойницкую.

На другой день, выписавшись из больницы, я просил позволения похоронить труп такой-то №, такого-то. И мне было позволено.

Я пригласил своих товарищей. (Вы помните, что нас было четверо привезено в Петербург, т. е. квартет.) И мы вынесли ее на Смоленское кладбище. А после панихиды пропели «*Со святыми упокой*» да бросили земли по горсти в ее вечное жилище, и больше ничего.

Вскоре после этого прислал нам управляющий именем *плакатные* билеты, и мы остались еще на год в Петербурге. И знаете, что мы сделали? Прикинулись немцами, да и пошли по улицам спотешать добрых людей своим искусством. И знаете, нам хорошо было, мы почти что каждый [день?] по рублю серебра домой приносили.

За исключением харчей и квартиры, я каждое воскресенье получал рубль серебра. И каждую неделю я был два-три раза в театре (разумеется, в райке), откладывая каждую неделю полтину серебра на непредвиденный случай, т. е. для Серве. Т. е. приобрести несколько его этюдов для виолончеля. А главное, самого его послушать. В газетах давно уже публикуют, что он непременно будет к Великому посту в Петербурге. Дай-то Бог. Мне как-то страшно становится, когда я подумаю, что я буду слушать *Серве*. Неужели слава так могущественна?

Приближается зима, и наши уличные квартеты должны будут прекратиться. Что нам делать? Товарищи мои хотят бросить искусство и искать лакейских должностей. А мне бы хотелось удержать их от этого соблазна. Да как удержать?

С этой благой мыслию пошел [я] однажды на Крестовский остров в немецкий трактир, поговорил с хозяином, что так и так, есть у меня квартет богемцев, можно ли им будет прийти в воскресенье попробовать счастья в вашем заведении? Хозяин согласился. И мы в первое же воскресенье спотешали вальсами почтеннейшую публику, как истинные чехи. И спотешали не без пользы. Мы в один день достали себе пропитание на целую [неделю] с избытком. Товарищи мои ободрились. Следующее воскресенье нам еще лучше повезло. А следующее еще лучше, потому что уже настала настоящая зима.

Тут же, в трактире, мы стали получать заказы через содержателя трактира на вечеринки, на свадьбы и т[ому] подоб[ное]. Товарищи выбрали меня подрядчиком и казначеем. И мы зиму прожили припеваючи.

С Песков мы перебрались к Николе Мокрому. Квартира у нас была уже не одна маленькая комнатка, а две большие с прихожей.

В свободное время, в продолжение зимы, я проштудировал всего *Ромберга* и *Серве*, что мог достать.

Большой театр посещал я постоянно два и три раза в неделю, и хоть из райка, а я видел и слышал все, что было лучшего в ту зиму в столице.

Прошла, наконец, и бешеная Масляница. Прошла и первая неделя Великого поста.

О незабвенная афиша!

Надо вам сказать, что я часто делал большой крюк, чтобы пройти мимо которого-нибудь театра, собственно для того, чтобы прочесть афишу.

В воскресенье был я на соборном проклятии в Казанском соборе. Вышел из церкви, перехожу Невский проспект. И издали вижу, что что-то белеет за проволочной решеточкой у подъезда дома г[оспожи] Энгельгардт. Я прибавил шагу. Подхожу к подъезду или, лучше, к проволочному ящику, и мне показалось, что я вижу самого *Серве* и *Вьетана*. А это были только буквы. Долго я читал эти заветные буквы, пока добрался до настоящего их смысла. А смысл был такой, что *Серве* дает концерт сегодняшней же день. Начало в 7 часов вечера. Я сейчас же купил билет. И целый день ходил по Невскому проспекту, заходя иногда к Александрийскому и Михайловскому театру прочесть афишу.

В 6 часов вечера я уже был в зале. Зала уже была вполовину освещена, и я вошел в нее первый. Швейцар, впуская меня в залу, сначала пристально осмотрел меня с ног до головы. Потому, вероятно, что я вовсе не был похож на человека, для которого 5-рублевая депозитка ничего не значит. Ну, да Бог с ним, пускай думает, что хочет.

Публика начала собираться, и к половине седьмого зала уже была полна. Меня пронимала дрожь. Но когда кто-то около меня сказал: «Уж семь часов», — я затрепетал, а сердце у меня обдалось каким-то холодом. Как будто в одно мгновение теплая кровь оставила его и вместо крови потекла холодная вода.

Увертюра кончилась, которую я не слушал. Оркестр отдохнул. Поправился. И через несколько мгновений выходит *Серве* и за ним *Вьетан*.

Боже мой! я не слышал да и не услышу никогда ничего прекраснее!

*Лист* перед *Серве* — фанфарон, простой механик, ремесленник перед художником, больше ничего.

Я смутно помню, как я вышел из залы. И как пришел домой. Помню только, что товарищи отняли у меня виолончель и спрятали.

С того вечера я уже не беру виолончеля в руки и звуков его слышать не могу. Для меня это все равно, что ножом по сердцу.

[В] продолжение поста я читал только афиши. И только раз был в Большом театре, когда давали ораторию Гайдна «Сотворение мира». Это истинное сотворение мира. Только для Большого театра слишком громко: трудно слушать. Тут нужно по крайней мере Михайловский манеж.

Еще давали концерт в Патриотическом институте, в котором участвовал между многими знаменитостями и граф Вельегорский.

Чего бы я не отдал, чтоб послушать его! Но, увы! свет сей не для всех равно создан!

Как раз в Великую субботу позвали нас всех четырех в часть и объявили нам, что помещик требует нас к себе в деревню и чтобы мы приготовились к следующей среде выступить в поход с севастопольской партией.

К среде мы были совершенно готовы. И рано утром в среду вышли за толпою колодников из ворот Литовского замка с инструментами за плечами и грустно, молча потянулись к Московской заставе.

Не описываю вам путешествия нашего, потому что оно нестерпимо однообразно и отвратительно гнусно.

На третий месяц нашего путешествия с толпою злодеев мы прибыли, наконец, в Прилуку.

Странное и страшное чувство обуяло меня при виде родного места.

Я долго не решался послать из острога к нашему доброму Ивану Максимовичу. Наконец, через великую силу превозмог ложный стыд и страх и послал за ним тюремного служителя. Через полчаса явился Иван Максимович и взял меня на поруки.



В продолжение целой ночи мы глаз не смыкали, сообщая друг другу, как родные братья после долгой разлуки. Между прочими новостями он мне сообщил, что промотанное и разоренное имение покойного Г. купил с публичного торгу г. Арновский и что хотел было взять Лизу и Наташу к себе на воспитание, но Антон Адамович отдал только Лизу, а Наташу у себя оставил, и что m-ше Адольфина оставила их вместе с Лизою.

На другой день я оставил Прилуку и ночевал на ферме. На ферме все как было и прежде, только Лизы и m-ше Адольфины недостает. А хозяйева ее, кажется, и помолодели, и подобрили.

Солнце уже спускалось за горизонт, когда я подходил к ферме. Мужички, попадавшие мне около села, приветствуя меня с добрым вечером, посматривали на меня и, снявши шапки, крестились. Меня это немало удивляло. «Что бы такое ) значило, что они крестятся?» — спрашивал я сам у себя, входя в село. Играющие на улице дети, завидя меня, бросили игры и, остановясь около хаты, молча посматривали на меня, а которые были постарше, те крестились. Я хотел было подойти к ним и узнать причину благоговения к моей особе, но дети разбежались.

Я пошел далее, и уже на гребле попалась мне навстречу старушка и, перекрестясь, остановила и спросила у меня:

— Куда це вы гробык несете? У Дигтярях священник умер, поховать никому буде, бо нового попа ще не прыслано.

Тут-то я только догадался, что они скрипичный ящик мой принимали за детский гроб.

Подойдя к самим воротам сада, я остановился в раздумьи, заходить ли мне к ним, или пройти мимо. И только было решился на последнее, как послышался мне детский голос в саду. Это был голос Наташи. Я отворил ворота, но войти в сад все еще как бы боялся. Только Наташа, увидя меня, закричала:

— Мамо! мамо! Нищий пришел! (Марьяну Акимовну она мамою звала.)

— Где ты видишь нищего? — спросила ее Марьяна Акимовна, выходя из-за дерева.

— Он за воротами. — И они подошли ко мне на несколько шагов. И Наташа бросилась ко мне, крича:

— Мамо! мамо! Это не нищий, это наш Тарас Федорович!

Меня и в самом деле немудрено было принять за нищего: оборванный, запыленный, с палкою в руке и с ящиком за плечами. Марьяна Акимовна подошла ко мне, посмотрела на меня, взяла меня за руку, сказавши: «Войдите», — и заплакала. У меня ноги подкосились, и я упал на землю и зарыдал, как дитя. Наташа побежала за Антоном Адамовичем, и через несколько минут мы уже все трое шли к дому и все трое плакали. Наташа тоже плакала, разумеется, бессознательно. Впрочем, ей уже 12 год.

И что это за дитя, если б посмотрели! Это такая красота, такая детская прелесть, какой мне не удавалось видеть даже на картинах.

Подходя к дому, Антон Адамович почти что вырвал меня из рук Марьяны Акимовны и повел в свою хату.

— Подождите меня здесь, — сказал он мне, сажая меня на стул в своей хате. — Я сию же

минуту, — прибавил он уже за дверью.

В хате его было все по-прежнему, даже запах, воздух был прежний, и мне казалось, что я вчера только вышел из этой комнаты.

Через минуту вошел мальчик с умывальником и бельем, а за ним и сам Антон Адамыч, неся в руках свое серенькое пальто и прочие принадлежности туалета.

— А сапоги найдете здесь, в этой комнате, — сказал он, указывая на боковую дверь. — А когда все кончите, приходите чай пить. Мы вас ждем! — прибавил он, уходя из хаты.

Преобразившись, я пошел в дом. На крыльце встретила меня Наташа и, схватя за руку, закричала:

— Мамо! мамо! посмотрите. Я его и не узнала! — И с этими словами ввела меня в комнату. И, сажая меня на стул около стола, прибавила:

— Садитесь вот здесь, как раз против меня и против мамы. Мы на вас будем смотреть. Ведь мы вас давно не видали!

Я осмотрелся кругом и сел. С минуту длилось молчание. Марьяна Акимовна, молча глядя на меня, заплакала и проговорила:

— Теперь нас только трое. А помните, было пятеро.

И, наливая чай, рассказала знакомую уже мне историю с прибавлением, что m-lle Адольфине чрезвычайно не хотелось расставаться с ними, и что они ее насилу уговорили перейти к г. Арновскому, что она там будет необходима для Лизы, потому что Лиза такая бойкая. «Что Наташа против Лизы? Это просто ангел у меня, а не дитя», — прибавила она, целуя Наташу.

Марьяна Акимовна начала было спрашивать меня о моих похождениях, но Антон Адамыч перебил ее, говоря, что для этого будет завтрашний день, а что сегодня нужно спросить у гостя, не хочет ли он есть и спать?

После ужина пошел я в хату, где уже для меня была приготовлена постель.

«Боже мой! — подумал я. — За что эти добрые люди так полюбили меня? Встречал ли отец с матерью с такой любовью своего сына после долгой разлуки, как они меня встретили? Добрые, благородные люди!»

На другой день поутру Антон Адамович съездил в Дигтяри и исходатайствовал мне позволение у управляющего остаться на ферме по случаю болезни.

Весь август месяц я прожил в кругу этих добрых людей, совершенно как сын у отца и матери. И совершенно забыл о моем грустном пребывании в Петербурге и о моем горьком странствовании, несмотря на то, что я каждый день повторял свои рассказы.

В Раю праведники едва ли так блаженствуют, как я теперь блаженствую.

Наташа от меня совершенно не отстает. Просит меня, чтобы я ее учил на фортепиано, хотя она сама не хуже играет. Просит меня учить ее по-французски говорить, а сама мне поправляет. А когда я по вечерам рассказываю о моих приключениях на этапах, она плачет пуще самой Марьяны Акимовны. Просто она меня чарует своею привязанностью ко мне.

В четвертый раз принимаюсь я за письмо это и не знаю, удастся ли мне хоть теперь кончить. Просто свободной минуты не имею. Представьте, что мы сидим иногда напролет ночи в уютной хатке Марьяны Акимовны, она за фортепьяно, а я со скрипкою.

Виолончель я думаю совсем оставить. Да и у кого хватит духу играть на ней, слышавши Серве?

Конец моего блаженства близится: на днях я оставляю ферму и являюсь к моему новому властителю. Не предчувствую ничего для себя доброго впереди. А впрочем, все в руках Божиих.

Я это письмо так долго писал, что наконец привык к нему, и мне грустно стало, когда я его кончил. Я мысленно никогда не расставался с вами, но в это время я с вами просто жил и открывал вам все мои мысли и чувства, и теперь как подумаю о предстоящей мне жизни, — а в ней предвижу я много для себя грустного, и грустное это некому будет передавать, — то мне теперь уже тяжело.

Напишите мне хоть три слова, напишите только, что вы получили мое письмо, и я буду счастлив.

Прощайте, незабвенный друг мой, не забывайте преданного вам и бесталанного музыканта N.

Ферма  
18... года  
августа ...дня».

По прочтении письма я думал было заснуть хоть немного с дороги, но не тут-то было. Передо мною стоял, как живой, мой бедный музыкант с своей виолончелью и, глядя на меня, грустно улыбался, и так грустно, что я хотел было достать огня и прочитать снова его печальное послание, только смотрю — в окнах уже белеет. Я накинул на себя шинель и вышел на крылечко. Не прошло пяти минут, как подходит ко мне Иван Максимович и, после обоюдных приветствий, жалуется мне, что ему тоже всю ночь не спалось и что он давно уже ходит и посматривает, не выйду ли я.

— Мне, не знаю почему, казалось, — говорил он, — что и вам тоже не спится. Я хотя и не читал письма Тараса Федоровича, но знал, что оно невеселое, не правда ли?

— Правда! — отвечал я. — Даже очень невеселое.

— И оно, конечно, вам заснуть не дало?

— Действительно так.

— Я так и думал. Но это все ничего, а вы послушайте, что после с ним было!.. А впрочем, я вам лучше прочитаю. Я, знаете, на старости туды же пустился в литературу. Да что, думаю, ведь не святые же горшки лепят. Предмет же и сам по себе интересный, а если его обработать, так это выйдет просто роман. Вот я и принялся... А сестрица, я думаю, давно уже нас с самоваром дожидает. Ей, бедной, тоже что-то не спалось в эту ночь. Впрочем, это с нею часто случается. Пойдем-ка, это будет лучше литературы!

И действительно, старушка нас дожидала с чаем, только не в комнатах, а в садике, в летнем кабинете брата. Садик заключал в себе несколько тощих фруктовых деревьев и дощатый чулан, приткнутый к соседнему забору. Это-то и был летний кабинет Ивана Максимовича.

Несмотря, однако ж, на нищету этого садика, в нем было так все уютно, так спокойно, что я невольно позавидовал бедному Ивану Максимовичу.

Напившись чаю под кустом цветущей бузины, Иван Максимович повел меня в свой кабинет. Усадил на дощатом обнаженном диване и, вынимая из столика бумаги, сказал:

— Теперь мы в тиши уединения займемся литературою. Вот эти бумаги, — сказал он, откладывая в сторону несколько листов, мелко исписанных. — Эти бумаги принадлежат вам. Помните, вы просили меня когда-то собирать для вас все, касающееся истории, философии и поэзии нашего народа. Тут всего есть понемногу. Исторические сведения, касающиеся собственно города Прилук, сообщил мне покойник отец Илия Бодянский. А прочее я записывал где попало. А вот это уже чистая литература, — говорил он, разбирая другие бумаги.

— Я описываю все случившееся с нашим музыкантом со дня его выезда в Петербург, со слов его же самого, только украшаю иногда слог на манер Марлинского (божественный писатель!). Даже и название даю моему рассказу вроде незабвенного Марлинского, т. е. «Музыкант, или Две сиротки». Помните *Лизу и Наташу*? Они у меня тоже играют немалую роль. Так с чего же нам начать? Он вам, верно, в письме своем описал все, хотя вкратце, по день прибытия своего на родину?

— Действительно все, — сказал я, — кроме обратного своего путешествия из столицы.

— То есть следования по этапам. Я так и думал, потому что и мне немало стоило труда выпросить у него некоторые подробности этого, можно сказать, живописного путешествия. — И Иван Максимович улыбнулся своей остроте. — Так я начну вам именно с путешествия.

— Уже вечерний солнца луч златил величественное и широкое ложе реки Луги (так начал читать Иван Максимович), и когда мы перешли бесконечно длинный и разными вавилонами на сваях воздвигнутый мост через едва выглядывавшую из камышей реку Лугу, то лучезарный Феб уже скрылся за горизонтом в объятиях Фетиды. Но так как в полярных странах летние ночи бывают довольно ясны, то мы засветла еще вступили в город Лугу. Нас, разумеется, препроводили в острог... Но тут, знаете, картина не авантажная, — говорил Иван Максимович, — и потому-то я ее не описываю. По-моему, чисто изящного произведения не должны касаться картины грязные, хоть это теперь, к несчастью, вошло в моду. Но я все-таки люблю придержаться классического стиля. Да и где нам, старикам, переделывать себя.

Вот они (я вам буду простые происшествия рассказывать, а что коснется поэзии, то уже прочитаю), так вот они на другой день у этапного командира испросили позволение, потому что у них была дневка и к тому же день праздничный. Так вот они и испросили позволение (разумеется, предложивши ему часть заработка) пройтись по улицам с инструментами и дать несколько концертов.

Предприятие (несмотря на то, что город Луга, можно сказать, нарочито невеликий), предприятие их увенчалось полным успехом, так что, несмотря на значительную часть приобретения, отделенную ими командиру этапа, у них хватило пропитания до самого Порхова. Близ Порхова я описываю (по его же рассказу) длинную тонкую возвышенность, вроде циклопического вала, по которому тянется почтовая дорога почти до Порхова, потом самый Порхов и величественную Шелонь, на левом берегу которой высятся древние развалины замка.

На счастье их, в Порхов они пришли как раз на Духов день. Пошли по улицам на другой же день с музыкою, как и в Луге это сделали. Но только Порхов не Луга; тут их забросали

гривенниками. Один приказчик какого-то мыловаренного завода Жукова (знаменитого табачного фабриканта) разом выкинул три цалковых. Им так повезло в Порхове, так, что они уже нанимали на каждом этапе лошадку с телегой для своих инструментов до самых Великих Лук. А из Великих Лук у них уже своя была лошадка, правда немудрая, но все-таки своя.

Так как они приближались к стране постоянно голодной, то есть к Белоруссии, то, кроме инструментов, от города до города [лошадка] везла за ними и порядочный запас печеного хлеба.

Трогательные картины случалось ему видеть в сей убогой стране. Знаете, голод, нищета, разврат и гнусные сопутники разврата. Все это я описываю в назидательном тоне.

Так, например, когда они проходили чуть ли не *У святых*, то, вместо того, чтобы арестантам подать милостыню, толпа мальчишек с толстыми коленами бросилась к арестантам и стала просить хлеба. А когда увидели, что им давали хлеб наши артисты, за мальчишками бросились и взрослые, и старики. Голод не знает стыда.

Пройдя страну сетования и плача, они вступили наконец в благословенные пределы нашей милой Малороссии. И наконец, в нашу скромную Прилуку. В тот же вечер пили мы чай с о нашим милым, дорогим музыкантом и дружески беседовали в этой самой беседке.

Теперь вот что я вам скажу. Вы извините меня: я человек, знаете, обязанный службою.

— Сделайте милость, распорядитесь, как вам угодно, — сказал я ему.

— Я вот что сделаю, — говорил он. — Я схожу ненадолго в училище, а вы читайте мою рукопись. Тут вы встретите несколько подлинных писем Тараса Федоровича, в которых он изображает большею частью состояние души своей и прочие домашние обстоятельства. И еще знаете что: я забегу на станцию и скажу, чтобы принесли и ваши вещи сюда, и мы с вами так и прокочем до воскресенья, а в воскресенье и на ферму вместе. *Веле?* — прибавил он, сжимая мою руку.

— *Benissimo*, — отвечал я. И мы расстались.

Рукопись, правду сказать, пугала меня, зато письма, в ней помещенные, меня чрезвычайно интересовали, а потому я и принялся за нее.

Письма были вклеены в рукопись, а потому-то мне их не трудно было и отыскать.

И первое из них такого содержания:

«Я обещался вам, мой незабвенный Иван Максимович, извещать вас по временам как о себе самом, так и о предметах, меня окружающих. И вот уже скоро наступит третий год, как я пресмыкаюсь у ног моего нового властителя, и только теперь вспомнил я данное вам обещание. Мое горе такого рода, что само себя питает и не любит утешения. Простите меня, добрый Иван Максимович, за такое выражение. Но что делать? Истина! Теперь мне лучше, и так лучше, что я могу беседовать с вами.

Что это вы к нам никогда не заглянете? То-то бы наговорились. Приезжайте-ка, да и супругу вашу привозите. У нас 23 апреля праздник. Ведь вы прежде таки любили увеселения — я этой любви обязан и знакомством моим с антикварием, помните? Где-то он теперь, бедный! Напишите мне, если получите об нем какое известие.

Вчера я возвратился с фермы. Я там гостил три дня. Впрочем, я там никогда меньше трех дней не гошу. Вот мое одно-единственное счастье. И правда, великое счастье! От сотворения мира, я думаю, ни одному страдальцу [не удавалось?] так заживлять свои сердечные раны, как я их заживляю в кругу этих благородных людей.

А Наташа, вообразите себе, так меня полюбила, что, когда я уезжаю, она, бедная, навзрыд плачет. И что это за девочка! Что это за чудное создание! И в этих летах (ей четырнадцатый год) сколько глубокого чувства и недетского ума. Она полюбила музыку, и так полюбила, что дни целые проводит за фортепьяно. И, представьте, она до сих пор не знает, что она сирота. Правда, при Марьяне Акимовне трудно ей это узнать, потому что она для нее больше, нежели мать родная. Зато и Наташа вполне ее вознаграждает своею детскою безотчетною любовью. А Антон Адамыч просто не знает, где и посадить свою Наташу. Представьте, он для нее целый день не выходит из своей лаборатории, чтобы вечером потешить Наташу какою-нибудь замысловатою игрушкой. Я вам рассказываю то, что вы сами недавно видели. Мне говорили, что вы недавно с супругою вашею гостили у них. Как жаль, что я не знал, а то бы непременно отпросился.

Странная, однако ж, психологическая задача. Например, Лиза, [как] две капли воды, похожа на Наташу, и я ее каждый день вижу, а не могу любоваться ею, как Наташею люблюсь. Она, мне кажется, слишком бойкая, более похожа на мальчика, ни к кому не привязывается, неохотно учится и музыки не любит.

Что бы это значило? Детство их было совершенно одинаково, а теперь такая разница.

M-me Адольфине, как вам известно, в тот же год отказал г. Арновский. И знаете за что? Гнусный сластолюбец! Он не мог обольстить ее и выгнал из дому, назвавши при всех распутною девкою.

Бог ее знает, где она теперь. Доброе, непорочное создание. Вы знаете, что я ей обязан французским языком. И теперь только узнал я ему настоящую цену. Библиотека у нас состоит почти вся из французских книг, хоть, правду сказать, более из романов. Но все-таки лучше, нежели ничего.

Да, m-me Адольфина была необходима для Лизы. Бедное дитя! Чему она выучится, что усвоит себе хорошее от своей воспитательницы, безграмотной, старой, подлой девки? Это почтеннейшая сестрица г. Арновского. Она отделила ее от общества пансионеров и перевела к себе. И все это, я подозреваю, по приказанию братца. Гнусные люди! Лиза чрезвычайно быстро вырастает. Г. Арновский пишет, чтобы его нынешний год не ждали из-за границы. Он ведь еще в прошлом году уехал принимать ванны от какой-то застарелой болезни.

А знаете что? Приезжайте-ка 26 августа на ферму. Вы знаете, в этот день Наташа именинница. Уверю вас, будет весело. Приезжайте, я хоть посмотрю на вас.

К этому дню я готовлю несколько квартетов, т. е. я с товарищами моего странствования. Только чур, не проболтайте, если раньше нашего приедете. Я хочу сделать это в виде сюрприза.

Антон Адамыч готовит для нее же иллюминации и щит с ее вензелем. Щит будет поставлен между кустов, а за щитом поместится наш квартет. Не правда ли, хорошо придумано?

Еще я приготовил для Наташи сюрприз. Не знаю только, понравится ли ей. За ноты я не боюсь: я ноты просто печатаю. А фронтиспис меня беспокоит. Я, видите ли, как умел, переписал на веленовой бумаге «Серенаду» Шуберта и украсил

о заглавный лист собственным изделием. Скопировал, правда, с какого-то ничтожного романа. Ну, да это ничего.

Приезжайте 26 августа. Бога ради, приезжайте. Только непременно вместе с супругою».

Едва кончил я первое [письмо], как вошел ко мне Иван Максимович, запыхавшись:

— Фу, как устал! Почти бежал всю дорогу. Боюсь, не соскучились ли вы? А, да вы читаете. Прочитываете. Что, каково, а? По-стариковски, не правда ли? Слог! слог главное, а прочее само собой придет. Не так ли?

— У вас слог прекрасный!

— Устарел маненько. Что же делать, мы и сами устарели. Не так ли?

Я в знак согласия кивнул головою, а он, взглянув на рукопись, сказал: «А, так вы на письме остановились. Продолжайте, продолжайте».

— Я уже кончил письмо.

— Кончили? — И, немного помолчав, он проговорил. — Да, оно кончается приглашением меня на именины Наташи. С моею незабвенною. — И он замолчал и отвернулся.

— Музыка... иллюминация... Наташа! — приходя в себя, говорил он с расстановкою. — Да, прекрасно, торжественно-прекрасно было. Нет, мы лучше прочтем. Этот праздник у меня торжественным стилем описан. — Братец! пожалуйста обедать! — раздался голос сестрицы.

— И в самом деле, лучше пойдете пообедать. А потом уже придем и прочитаем.

И мы пошли обедать.

Не знаю, дело ли то было аппетита, или дело просто сердечного радушия, или просто борщ с сушеными карасями (который так гениально варят мои землячки), — не знаю, что именно было причиною, знаю только, что я преплотно пообедал и еще плотнее заснул после обеда.

Вещи мои были принесены с почтовой станции, и [я] поселился до воскресенья в беседке гостеприимного Ивана Максимовича. И во время его отсутствия прочитывал простосердечные письма моего непорочного музыканта.

Второе письмо, предлагаемое здесь, было писано спустя два с лишним года после первого.

«М[илостивый] г[осударь] Иван Максимович!

В последнем письме своем вы повторяете свою прежнюю просьбу, чтобы я записывал из уст нашего народа, как вы пишете, все, что касается его философии, поэзии и истории. Благодарю вас, что вы напоминаете мне об этом. Это значит, что ваше горе вполнину уменьшилось, что вы, наконец, вспомнили и нашего антиквария и, наконец, меня, вашего искреннего друга. Антиквария нашего и я помню хорошо, только Бог его знает, где он теперь находится. А я для него, или все равно для вас, записал на днях дивную песню.

Иду я однажды по самой большой улице в селе и, правду сказать, иду к корчме, чтобы посидеть с добрыми людьми на завалине: не услышу ли чего-нибудь поучительного. Только

иду и вижу: по самой середине улицы идет пьяная баба и, как видно, не убогая. Идет и во все горло поет, поглядывая на высунувшиеся на улицу хаты:

Упылася я,  
Не за ваши я.  
В мене курка неслася,  
Я за яйця впылася.

Это ли не философия? Это ли не поэзия?

Мне хотелось сделать вариации на эту тему. Но, увы! музыка не в силах выразить этого великого сарказма.

Вы теперь, как видно из вашего письма, немного успокоились после вашей невознаградимой потери. *Быйте лыхом об землю, як швець мокрою халявою об лаву*, та приезжайте в воскресенье на ферму. А я приеду туда с виолончелью. И буду играть для вас целый день. И все ваши и мои любимые малороссийские песни.

Я вам, кажется, не писал еще о виолончели? Чудный! дивный инструмент! И я не знаю, где он мог его достать за такую ничтожную цену?

В прошлом году наш поправившийся г. Арновский возвратился из-за границы и между многими диковинными игрушками привез и виолончель. Боже мой, что это за игрушка! Только одна душа человека может так плакать и радоваться, как поет и плачет этот дивный инструмент. Мастер, создавший его, не кто иной был, как сам Прометей. Я спать ложуся и кладу его около себя. Это моя любовница, моя жизнь, мое я. И если б я был два раза раб, то за этот инструмент продал бы себя в третий раз. О, я теперь совершенно забыл *Серве*.

А если бы видели, что делается с *Наташей*, когда я заиграю на этом божественном инструменте! Она цепенеет, и больше ничего.

А Марьяна Акимовна уверяет меня, что я на скрипке лучше играю, нежели на виолончели. Но это она говорит только так. Она сама не может равнодушно слушать виолончели.

Разносился я, однако ж, с своею виолончелью, как дурень с писаною торбою. А о главном-то чуть было и не забыл.

Предчувствия мои сбылись. Едва оживший г. Арновский ухаживает уже за Лизою собственною персоною. Как видно, усердие милой сестрицы не имело успеха.

А Лиза и знать ничего не хочет. Бегает по залах, бьет горшки со цветами, ломает стулья. Совершенный ребенок. А этому ребенку, заметьте, 17 годов. Меня одно только утешает, если я не ошибаюсь: что если и успеет г. Арновский, то этот успех обойдется ему не так-то дешево.

Мне по крайней мере не случалось еще встречать так сильно развитой природы в Лизанькины лета. Это совершенная женщина!

Сестрица г. Арновского в тупик становится перед ее выходками.

Что если бы хоть какое-нибудь образование этой девушке? Это была бы совершенная Семирамида или Клеопатра.

Месяца два тому назад однажды сидят они все трое за обедом молча и только поглядывают друг на друга исподлобь. Кушанья подавали только для формы, никто к ним и не прикоснулся.



А я от нечего делать (стоя за стулом Лизы) стал всматриваться в лицо г. Арновского. Руина! совершенная руина. Он не старик еще, но опередил даже дряхлых стариков. Повисшие, едва сжимающиеся губы, полураскрытые бесцветные глаза, желто-зеленый цвет лица и вдобавок серые, жиденькие волосы и глухота делают его чем-то отвратительным, чем-то на полипа похожим.

Обед кончился. Лиза, выходя из-за стола, заплакала и, обращаясь к г. Арновскому, сказала: «Прикажете заложить лошади. Или я пешком уйду к Антону Адамовичу».

«Быть беде», — подумал я. И не ошибся. Через несколько дней дворня шепотом заговорила о женитьбе барина на Лизавете Павловне. А еще через несколько дней явились уже и подробности, сопровождающие всякую будущую свадьбу.

Из Прилуки между тем приехал стряпчий г. Арновского И. П. Ярмола. Пробыл у нас двое суток и уехал так, что его почти никто и не видал.

Это тоже что-нибудь да значит?

Не прошло и месяца после этого происшествия, как сестрица г. Арновского засуетилась, забегала, всю дворню подняла на ноги и своим благородным воспитанницам приказала приготовить самую лучшую пьесу к свадьбе.

«К свадьбе! — подумал я. — Стало быть, между Лизой и г. Арновским это вещь возможная. Странно!» Я на другой же день съездил на ферму, рассказал все виденное и слышанное. Антон Адамович сказал: «Хорошо». А Марьяна Акимовна только головой кивнула.

Свадьба совершилась тихо. Ждали гостей много, но собрались только ближайšie соседи. Театра тоже не было. Хотели было дать концерт, да тоже до завтра отложили.

Завтра прошло тоже без особых приключений, а послезавтра управляющий получил приказание от г[оспожи] Арновской приготовить экипажи, людей и лошадей для поездки в Киев.

Все это происшествие вам покажется невероятным, фантастическим, как и самому мне оно показалось. Но вспомните, что Лиза выростала под непосредственным смотрением распутной старой девки. Вспомните это, и неестественное замужество Лизы делается самым натуральным. Грустно только смотреть на это милое создание, так бесчеловечно нравственно изуродованное. В ней и тени не видно той ангельской прелести, какая так свойственна ее возрасту. Воспитательница, однако ж, ошиблась в своих расчетах. Цель ее была развратить Лизу до такой степени, чтобы она была способной выйти замуж за ее отвратительного братца. В этом она успела. Но главное, ей надоедал братец своим самовластием, и ей нужно было сокрушить эту власть. Она и сокрушила. Т. е. она сделала Лизу полной, независимой помещицей всего имения, прежде принадлежавшего г. Арновскому. Для того и приезжал стряпчий из Прилуки. Дело в том, что когда Лиза сделалась помещицей, то, вместо половинной власти и состояния, предложила своей наставнице место ключницы у себя в доме.

Рассчитавшись так с своей милою наставницею, она вручила полную власть своему управляющему над домом и всем имением. Она взяла своего дряхлого мужа и отправилась в Киев, якобы пользоваться тамошними минеральными водами. В доме оставалось все по-прежнему. Хозяйка обещалась зиму провести в имении. А до зимы, следовательно, мне в доме было нечего делать. И я, пользуясь сим добрым случаем, отпросился у управляющего месяца на два в Дигтяри, т. е. на ферму.

И вот уже третий день я разыгрываю моцартовские сонаты в хатке Марьяны Акимовны на моем милом виолончеле.

Как тепло, как хорошо мне в кругу этих милых моих друзей. Наташа день ото дня становится все краше и милее. И что за умница, что [за] скромница! Просто прелесть. Она, знаете, со мною хочет этикетничать, держать себя прилично взрослой девице. Но никак не может: важничает, важничает, да вдруг схватит с меня шляпу, побежит и спрячется в кустах. Я ищу ее, а она перебегает из куста в куст, пока устанет. А потом пойдет жаловаться Марьяне Акимовне, что я ей покою не даю, что она на мой соломенный брыль без смеху смотреть не может. Милое! прекрасное создание! Глядя на нее, иногда я себя чувствую выше человека. Таким безгранично счастливым существом, каким человек никогда быть не может.

С некоторого времени, я замечаю, она начинает задумываться. И почти плачет, когда я играю ее любимую серенаду Шуберта.

Марьяна Акимовна предлагает Антону Адамовичу поехать с Наташей на зиму в Киев. Но Антон Адамович упорно молчит и только головою потряхивает. Раз было сказала Марьяна Акимовна:

— Ну, коли не в Киев, так хоть в Качановку к Лизе. Но он на нее так посмотрел, что с тех пор о Лизе и помину не было.

Я совершенно понимаю и оправдываю мысль Марьяны Акимовны. Но никак не могу равнодушно вообразить себе Наташи в кругу незнакомых ей людей. Мне делается страшно за нее. Она такая живая, впечатлительная. И ей уже семнадцать лет. Ей предстоят большие опасности впереди.

Вот еще что меня немало удивило. Когда я рассказал с подробностями про свадьбу Лизы, Наташа равнодушно дослушала мой рассказ, проговорила:

— Несчастливая она! — и залилась слезами.

Неужели она в эти лета так глубоко успела заглянуть и уразуметь, в чем состоит истинное наше счастье?

Я завтра поеду в Качановку за партитурой Мендельсона «Сон в Ивановскую ночь». Наташа еще не слыхала ее. Я положу для нее эту чудную симфонию для фортепьяно и баса.

Приезжайте когда-нибудь в праздник, и вы послушаете. А между тем напишите о себе хоть пару слов с нашим посланным, напишите хоть только, что вы получили мое послание.

Преданный вам ваш Музыкант».

На оставшемся от письма чистом полулисточке бумаги вроде примечания было написано рукою Ивана Максимовича так:

«30 июня, в день Петра и Павла, ездил я в гости на ферму и гостил два дня с великим удовольствием. Виолончель с фортепьяно — это такая божественная гармония, что вечно бы слушал ее и не наслушался, особенно, когда они вдвоем исполняют эту волшебную серенаду. Я, впрочем, думаю, и не без основания, что, кроме гармонии звуков, между ими существует высочайшая гармония самых нежных чувств. Мне даже об этом сама Марьяна Акимовна косвенно намекнула, когда они играли серенаду. Она обратилась ко мне и, взором показывая

на музыкантов, шепнула:

— Не правда ли, парочка? Как вы думаете?

Я, разумеется, в знак согласия кивнул головою.

Другой раз, когда мы гуляли по саду и они вдвоем шли впереди нас и о чем-то тихо разговаривали, Антон Адамович, глядя на них, проговорил, как бы сам с собою:

— Во что бы то ни стало, а я ему добуду свободу.

— Благородное чувство! — подумал я. — Это значит стать выше предрассудков века. Давно пора бы всем так думать и чувствовать. Но увы! гордыня обуяла нас. А как бы они счастливы были! Я всякий бы день ездил на ферму любоваться на их счастье. Я тут не вижу ничего невозможного. Все будет зависеть от Антона Адамовича. А сомневаться в искренности и чистосердечии этого благородного человека — значит не верить в Бога. Подождем! увидим!»

В следующем за письмом повествовании собственного изделия Ивана Максимовича продолжают рассуждения в этом же роде, т. е. в роде филантропическом, только уже слогом возвышенным, обработанным, таким слогом, что я с трудом прочитал полстраницы. Настоящий Марлинский! Мир памяти его.

Перевернув несколько листов красноречивой рукописи, я открыл еще одно письмо музыканта, писанное год спустя после предыдущего.

Письмо начинается так:

«Незабвенный Иван Максимович!

Я так счастлив, так бесконечно счастлив, что едва могу писать вам, а писать необходимо, потому что счастье задушит меня, если я не выскажусь. Но с чего же вам начать? Дайте прийти в себя. Да начну с того, что прошедшей осенью возвратился из Киева г. Арновский, совершенно больной и без жены. Елисавета Павловна бросила его в Киеве на попечение сестрицы, а сама уехала с каким-то гусаром на маневры в Вознесенск, да и не возвращалась. А уже из-за границы, кажется из Вены, написала управляющему письмо, чтобы он всю дворню и музыкантов распустил на оброк, кто пожелает, а остальных обратил бы в хлебопашцев. Благородным воспитанницам выдал бы по тысяче рублей и тоже распустил бы. А дворовых девушек повыдавал бы замуж с приданным по сту рублей, хоть за солдат. Г. Арновскому и сестре его выдавал бы по сту рублей в месяц и больше ничего.

Жалко и отвратительно было смотреть на этого изувеченного сластолюбца, когда он смотрел на сборы в дорогу своих воспитанниц и не мог остановить этих сборов. Ему не хотелось расставаться с своими жертвами, и он плакал в бессилии. Он пошел было к ним во флигель проститься с ними, но они перед ним двери заперли. Достойная благодарность развратителю.

Елисавета Павловна, может быть и бессознательно, но вполне справедливо и достойно наказала своего развратителя. Я в душе ей благодарен. За одну бедную Тарасевич его следовало бы сделать каторжником. Если совесть его проснется когда-нибудь, то она забичует его лучше всякого палача.

Только мне не верится в присутствие совести в развращенном сердце.

Оркестр наш почти весь пущен на оброк и отправился в Киев. Выбрали было меня капельмейстером, но я решительно отказался и выпросил себе у управляющего место лесничего в Дигтярях. Эта должность как раз пришлась по мне: брожу себе целый день по лесу, как будто дело делаю, а к вечеру отправляюсь на ферму. Виолончель осталась со мною. Слушатели мои — самые искренние слушатели, и я просто блаженствую. Если бы ко всему этому прежняя резвость и беззаботность Наташи, я был бы совершенно счастлив. А то она, бедная, такая грустная ходит, что я плачу, на нее глядя.

Марьяна Акимовна тоже будто бы переменялась. Тоже чего-то по временам задумывается и скучает. Один только Антон Адамыч по-прежнему молчит и добродушно улыбается. В отношении же меня они все ласковы по-прежнему. Только что-то как будто бы скрывают.

Меня это мучит, и я по целым дням иногда хожу по лесу и плачу, сам не знаю отчего.

Несколько дней тому назад Антон Адамович ездил к нашему управляющему и возвратился чрезвычайно весел, так весел, что заставил меня с Наташей играть «Горлицю», а сам чуть было танцовать не пустился.

А между прочим, все-таки ни слова никому не говорит о причине такой радости.

Через неделю после этой радости Антон Адамович, не сказав никому ни слова, уехал опять к управляющему, а к вечеру того же дня прислал записку, чтобы его не ждали вечерять, что он с управляющим уехал в Полтаву.

Мы, разумеется, ахнули и минут пять не могли проговорить ни слова, только смотрели друг на друга. Наконец проговорила первая Марьяна Акимовна:

— Что же это он сделал со мною? Вот уже тридцать лет, слава Богу, и мы с ним не разлучались ни на день единый, а тут взял да и уехал, и хоть бы сказал слово. Вот до чего я дожила, горькая!

И, минуточку помолчав, она тихо заплакала. Наташа тоже, и, взявшись за руки, они пошли в покои.

Я как вкопанный остался на месте. И долго бы простоял еще, если бы Наташа не позвала меня в комнаты.

После долгих рассуждений и предположений, зачем и для чего так, можно сказать, воровски уехал Антон Адамович в Полтаву, я вызвался сейчас же съездить в Качановку и узнать все положительно на месте. А чтобы им не страшно было без мужчины, я сходил на мельницу и пригласил старого мирошника на ферму в виде сторожа и собеседника. (Наташа чрезвычайно любила слушать его старые сказки и прибаутки.)

На рассвете я возвратился на ферму из Качановки, не узнавши ничего. Конторские писаря, пользуясь отсутствием управляющего, перепились пьяны и на вопрос мой отвечали: «Уехали в Полтаву», — и больше ничего.

Наташа заснула. А Марьяна Акимовна ждала моего возвращения у ворот сада и, завидя меня, подбежала ко мне с вопросом: «Что?» Я, хоть и горько мне было, сказал ей, что в Качановке никто ничего не знает.

— Идите же в его хату та отдохните с дороги, — сказала она мне и, закрыв лицо руками, тихо пошла к дому.

«Бедная женщина, — подумал я, глядя ей вслед. — Неужели так тесно сдружилась ты с ним, что не можешь один день прожить без него? Счастливая, завидная твоя доля. И многие, многие жены тебе вправе позавидовать. А тебе еще больше, счастливый, благородный старче, должны завидовать мужья— горемыки».

Прошел день, другой, наконец и третий, а об Антоне Адамовиче ни слуху ни духу. На ферме все так притихло и приуныло, что я боялся и подумать о музыке.

Марьяна Акимовна все дни ходила взад и вперед по одной дорожке и только молча вздыхала. А Наташа ей вторила.

Казалось, что мы уже навеки расстались с нашим Антоном Адамовичем. В продолжение дня Марьяна Акимовна заходила в его хату, чего прежде никогда не делала, обмахивала платком пыль с электрической машины и с других вещей, садилась на кушетку и плакала. Словом, она походила на самую нежную любовницу.

В продолжение этих дней я только и слышал от нее, и то она говорила как бы сама с собой:

— Ну, слыхано ли на свете такое горе? Уехать в такую даль и не сказать жене ни слова! О, я несчастная!

Дни проходили медленно, а вечера еще медленнее. А 26 августа быстро близилось. Я думал было прежде о сюрпризах для дня ангела Наташи. Но после этого случая я так растерялся, что совершенно обо всем забыл.

Я ездил еще раз в Качановку и хотел было проехать в Прилуку, к поверенному Елизаветы Павловны. Но мне сказали в Качановке, что и он уехал вместе с ними.

Вот уже и 25 августа, а на ферме будто бы ничего не бывало, ни малейшего движения. О предстоящем празднике и помину нет.

Я вспомнил про месячную розу в Дигтярях в оранжерее, которую я давно выпросил у садовника для дня ангела Наташи, и, не сказав никому ни слова, отправился пешком в Дигтяри. Возвратился я с цветком на ферму уже вечером, и вообразите мою радость: Антон Адамович сидел за столом между Марьяной Акимовной и Наташей и, по обыкновению улыбаясь, пил чай.

— А, и вы пришли! — сказал он, увидевши меня. — Садитесь-ка, я вам расскажу, что я видел в Полтаве.

Я сел, и несколько минут прошло в молчании.

— Ну, рассказывай же, — проговорила Марьяна Акимовна, — беспутный, что ты там видел в твоей скверной Полтаве?

— А что я там видел? Грязь и больше ничего!

— А что же ты там делал столько времени?

— Тоже ничего!

— Зачем же ты ездил туда, ветрогон ты старый?

— Так. Прогуляться.

— Так, прогуляться! Слышите, люди добрые? Так, прогуляться! Ах ты, седая, старая голова! И это тебе не совестно так мучить меня на старости лет?

И Марьяна Акимовна поцеловала его так нежно, так простосердечно, как самая нежная мать целует покорное дитя свое.

Вечер прошел тихо и весело.

На другой день проснулись все рано, а Антон Адамович раньше всех и, разбудивши меня, сказал:

— А что, ты приготовил что-нибудь для именинницы?

— Приготовил, — проговорил я.

— Ну, так вставай же, одевайся и пойдем поздравим, — она уже бежит по саду.

Я наскоро умылся, оделся и, взявши свою розу, пошел к дому вслед за Антоном Адамовичем. Наташа, увидя нас, побежала в комнаты.

Мы вошли вслед за нею. А она уже сидела за чайным столом, как ни в чем не бывало, около Марьяны Акимовны и просила сухарика к чаю.

Я поздравил ее, преподнес ей свой скромный подарок. Антон Адамович поздравил тоже и, вынув из бокового кармана сложенную вчетверо бумагу и подавая Наташе, сказал ей:

— Вот тебе гостинец из Полтавы.

Сказавши это, он, улыбаясь, сел около нее.

Наташа долго молча читала бумагу и, не дочитавши, выпустила ее из рук и со слезами бросилась обнимать и целовать Антона Адамовича. А мы с Марьяной Акимовной с изумлением посматривали друг на друга.

Наконец я поднял бумагу, посмотрел на нее, и... то была моя отпускная!

Все, что ни сказал бы я вам про свои ощущения в эту великую минуту, все бы это и тени не было похоже на то, что я чувствовал.

— Виолончель тоже наш, — проговорил, улыбаясь, Антон Адамович.

Я упал перед ним на колени и целовал его руки, обливая их слезами.

— Ну, Наташа, теперь за тобою очередь, продолжай, — сказал Антон Адамович, обращаясь к Наташе. — Возьми эту бумагу и отдай нашему другу и скажи: вот, мол, тебе мое приданое. А мы с Марьяною скажем: Боже вас благослови!

Все четверо мы бросились друг к другу и залились слезами.

И вот уж более недели, как мне мое счастье спать не дает. И знаете, кто все это сделал? Наташа! моя милая, моя бесценная Наташа! Она предпочла меня и знатным, и богатым. Меня, крепостного музыканта. И, открывшись во всем своим благородным благодетелям, просила их делать с нею, что найдут лучшим. А добрый, молчаливый Антон Адамович, не долго рассуждая и не говоря никому ни слова, решил по-своему одним разом. Он заплатил за мою свободу с

виолончелью 2500 рублей. Если бы г. Арновский был моим владыкою, этого бы никогда не случилось. Спасибо тебе, Елисавета Павловна. Тебе и во сне не снится, что ты, хотя совершенно невинная, причина моего настоящего блаженства.

Теперь Антон Адамович хлопочет об определении меня в канцелярию дворянского предводителя — уж это я и сам не знаю для чего. А когда это сбудется, тогда мы с вами будем видеться по крайней мере раза три в неделю. А пока приезжайте в воскресенье на ферму и полюбуйтесь на совершенно счастливых людей.

Преданный вам музыкант N.»

Дочитавши это самым счастием написанное письмо, я впал в какую-то болезненную задумчивость. Боже мой, неужели это была зависть? Нет, я не завидовал никому на свете. Это было горькое, невыразимо горькое чувство одиночества. Я чуть не заплакал от внутренней боли. В то время, как я собирался плакать, вошел ко мне Иван Максимович и спросил:

— Ну что, далеко уже прочитали мое немудрое повествование?

— Все прочитал, — ответил я.

— И описание свадебного пира?

— Нет, не читал.

— Так прочитайте, непременно прочитайте. Потому что я, можно сказать, больше всего рассчитываю на эффект этого великолепного изображения.

— А скажите, Иван Максимович, старики еще живы?

— Здоровехоньки. А о счастья и говорить нечего. А если б видели, что за внучку им Бог послал! Совершенный ангел Божий!

Я снова задумался.

— А знаете что, Иван Максимович? — спросил я его через минуту.

— А что?

— Отпустите меня завтра одного на ферму, а сами в воскресенье приезжайте.

— Ни за что. А коли уж вам так загорелось, то и я завтра могу с вами ехать. Да что это вам так вдруг...

— У меня уж характер такой: я ужасно люблю смотреть на счастливых людей. И, по-моему, нет прекраснее, нет усладительнее зрелища, как образ счастливого человека.

— Это совершенная правда.

На другой день мы были на ферме. И я видел и был совершенно счастлив счастием этих простодушно благородных людей! Видел и свидетельствую истину сего неложного сказания. Аминь.

15 января  
1855

Джерело: *Шевченко Т. Г.* Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 3: Драматичні твори. Повісті.  
— С. 178-239.

Постійна адреса: [http://ukrlit.org/shevchenko\\_taras\\_hryhorovych/muzykant](http://ukrlit.org/shevchenko_taras_hryhorovych/muzykant)